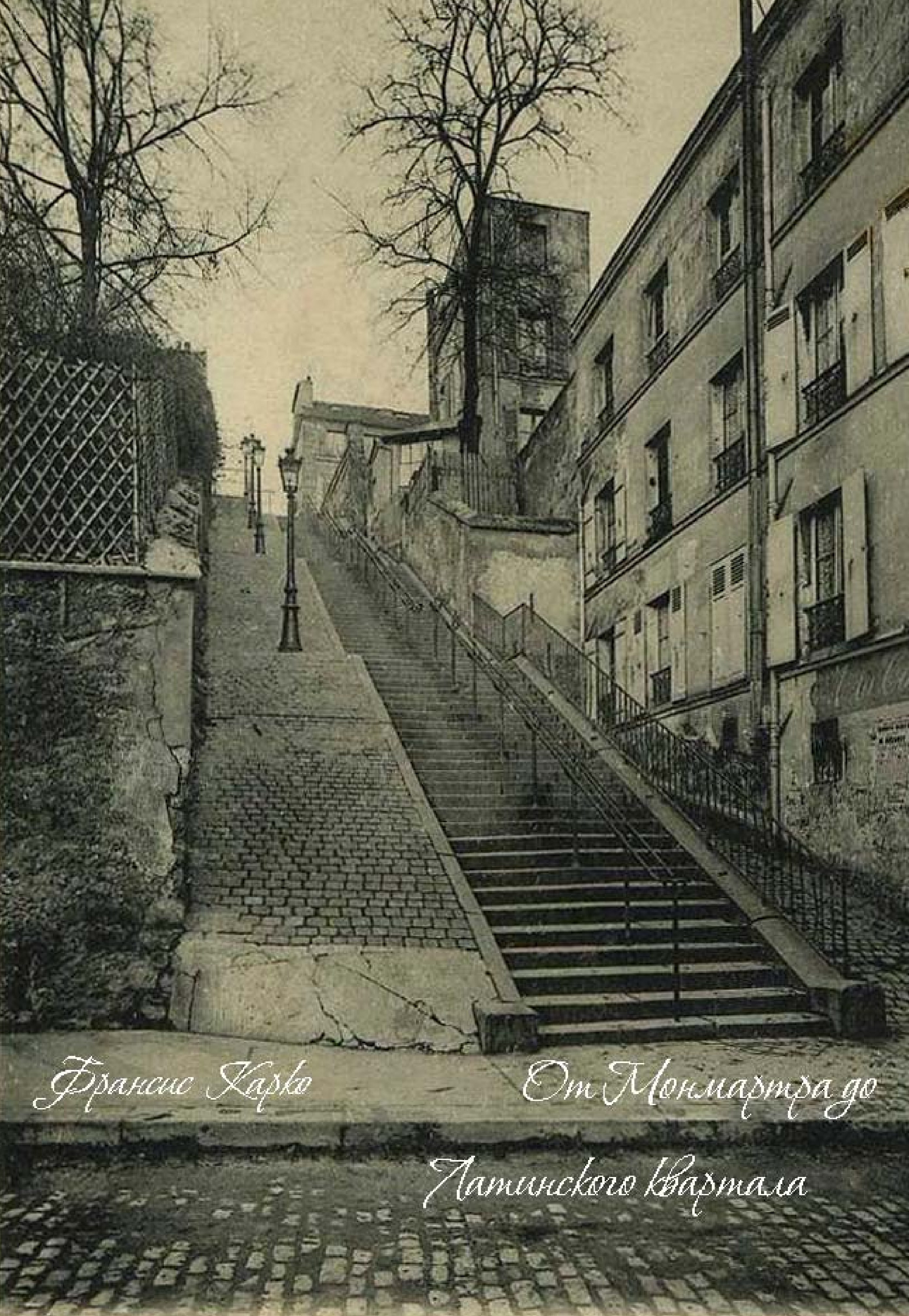

Франсис Карко
От Монмартра до
Латинского квартала



Salamandra P.V.V.

Франсис Карко

ОТ МОНМАРТРА

до Латинского квартала

Salamandra P.V.V.

Карко Ф.

От Монмартра до Латинского квартала. Пер. с франц. М. Е. Абкиной. Послесл. И. Соболевой. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2011. – 173 с., илл. – PDF.

Жизнь богемного Монмартра и Латинского квартала начала XX века, романтика и тяготы нищего существования художников, поэтов и писателей, голод, попойки и любовные приключения, парад знаменитостей от Пабло Пикассо до Гийома Аполлинера и Амедео Модильяни и городское дно с картинами грязных притонов, где царствуют сутенеры и проститутки – все это сплелось в мемуарах Франсиса Карко.

Поэт, романист, художественный критик, лауреат премии Французской академии и член Гонкуровской академии, Франсис Карко рассказывает в этой книге о годах своей молодости, сочетая сентиментальность с сарказмом и юмором, тонкость портретных зарисовок с лирическими изображениями Парижа. В приложении к книге даны русские переводы некоторых стихотворений поэта.



francis Carco

От Монмартра

до

Латинского квартала

I

От Монмартра до Латинского квартала, несомненно, далеко. Очень далеко, — дальше, может быть, чем думают.

Но, если такой человек, как я, желает собрать свои воспоминания, то лишь в этих местах он найдет самые богатые и пестрые из них.

Около 1910 года все мы были обитателями Монмартра или окрестностей бульвара Сен-Мишель. Счастливые времена! Когда я вспоминаю их, мне снова хочется писать такие стихи, как когда-то на улице Расина, в маленькой комнатке, которую консьержка соглашалась убирать, чтобы иметь возможность проигрывать весь свой заработок в лото.

Я не знал тогда в Париже никого, кроме этой консьержки, славной женщины, которую погубила страсть к лото. По ее рекомендации я давал уроки французского языка господину из второго этажа, готовившемуся к конкурсу на должность в префектуре, и получал за это обед. Господин был принят на эту должность, — и обеды мои потеряли свою регулярность. Я говорю об обедах, потому что в ту пору это был вопрос немаловажный и находившийся в зависимости от случая.

Иногда обед походил на пикник, иногда это бывала только игра в обед, как играют дети, иногда же — сверкающее великолепие трапез, холодных, как парижский рассвет, в одном из больших баров на левом берегу Сены. Товарищи мои в этот период жизни были не богаче меня. В голодные дни мы пробирались на лестницы в соседние дома и питались булками и молоком, которые поставщики оставляли по утрам на каждой площадке у дверей квартир. У некоторых из нас был такой прекрасный аппетит, что им, чтобы насытиться, приходилось обходить все этажи. И быстро же надо было уметь бегать, чтобы не быть застигнутыми на месте преступления! Я взбирался и спускался по лестницам не хуже моих товарищей. Это был своего рода спорт, — и теперь, когда я думаю об этом, я нахожу, что он предохранил нас от тучности ...

Да будут благословенны эти упражнения, развивавшие быстроту ног и фантазии — и вместе с тем насыщавшие желудки поэтов! Ибо все мы, разумеется, были поэты, — стихотворцы или прозаики, но — поэты! Кто же не был поэтом в том возрасте, когда память о Франсуа Вийоне окружает ореолом современную богему? Этот ореол, это сияние озаряло небо наших бессонных ночей, как бы сливаясь с бледным рассветом, подымавшимся из-за высоких домов. Иначе мы не были бы так сильны, так горды своим призванием. Как слад-

ко вспоминать... С каким умилением вызываешь из мрака прошедшего для себя самого

и для нескольких друзей

этот хмель молодости, это упоение и трудом и радостью в 20 лет.

Из комнаты, где я пишу эти строки, я вижу окаймляющие Сену набережные, где мы бродили тогда; Новый мост, через который мы постоянно возвращались с Монмартра; начало улицы Дофины. Сквозь ветви отсвечивает вода... Вся эта картина кажется теперь призрачной, чуждой... Никто не проходит мимо дремлющих фасадов домов. Я напрягаю зрение, чтобы убедиться, не мелькнет ли какой-нибудь след моего прошлого, но ничто непосредственно не напоминает мне о нем. Боже! Сколько воды протекло под этим мостом с тех пор, как мы были молоды! Сколько хмурых рассветов, сколько дней, недель, сколько лет и зим пролетело с тех пор!

Река подобна моей скорби:
Она струится и не иссякает, —

пел Аполлинэр.

Но Гильома Аполлинэра нет больше в живых. Умер Жан Пеллерен. Умер Андрэ дю-Фрэнуа, который жил на набережной де-Гранз'-Огюстэн; переселился куда-то Клодиен.

А веселые приятели, которые вместе со мной кормились когда-то дерзко украденным молоком и булками, — если бы нам привелось встретиться теперь, они, конечно, не узнали бы меня. Где они? Скажите мне, где? Но кто когда-либо мог ответить на подобный вопрос? Тщетно Вийон в вечер скорби обращался с этим вопросом ко всем эхо города. Бедняга Вийон! Где он теперь? Нет больше ни его, ни Верлена, ни стольких других, когда-то шатавшихся там же, где шатались мы, — по тем же тавернам, барам, пивным, по пустынному Новому мосту, по узким улицам и переулкам, извивающимся, как ящерицы, меж черных зданий. Своими воспоминаниями я только шевелю пепел прошлого... легкий пепел, вздымаемый ночным ветром и кружащийся в воздухе подобно теням мертвецов.

Но и далекий от Монмартра Латинский квартал полон призраками, живыми, смеющимися, всегда имеющими власть вызвать в вашей душе горькое опьянение прошлым. Не будь они призраками, мысль написать эту книгу меня бы ничуть не соблазняла. Ибо кому бы он понадобился — этот путеводитель по местам, где мы были завсегдатаями, этот памятник былым безумствам? Мы по-прежнему собирались бы за столиком у Фредерика или Гюбера Великодушного. Мы заходили бы друг к другу — выкурить папироску, поболтать, перелистать несколько книг и почувствовать себя среди друзей. Что еще нужно, чтобы находить в жизни очарование? Но тогда мы об этом не думали. Нам казалось так естественно жить,

быть связанными друг с другом узами искренней любви, работать! Если даже время или случай разлучали нас, — достаточно было письма, присланной книги, заметки в хронике газеты, статьи, чтобы воскресить ощущение близости. Мы шли одною дорогой. И, если, случалось, кто-нибудь из нас задумывался о своей будущности, он считал, что это будущность всех, потому что все мы шли по одному и тому же пути.

Увы! Что осталось нам? Воспоминания—уже!. Опустевшие места... За столом у Фредерика мы не решимся усесться, как сиживали в те времена... К чему? Молодежь, пришедшая нам на смену, к счастью — еще в полном составе. Пускай же их круг не редеет, и пусть не приходит для них раньше времени час, когда с грустью считаешь ушедших из жизни друзей.

II

В первый раз я увидел Утрильо не на улице и не в кабачке, где, как уверяют все, его постоянно можно было встретить. Эта легенда отжила свой век; однако, благодаря чересчур откровенному афишированию им своих пагубных привычек, она держалась так долго и упорно, что даже почитатели его таланта всячески ее распространяют в ущерб своему собственному высокому мнению о работах самого мастера.

Между тем, среди художников не было подобного ему в изображении Монмартра. Никто не мог с ним сравниться по трагической силе образов, по насыщенности красок, тщательной отделке деталей, наконец по языку картины, — непосредственному и бурному, который вас начинал волновать с той минуты, как вы его слышали. Нет, не на улице, не шатающимся и в лохмотьях впервые предстал передо мной Утрильо. Я познакомился с ним в один зимний вечер на Монмартре, после длительных переговоров с м-сье Г. (которого на Монмартре сокращенно называли папашей Г.), ибо м-сье Г. в ту пору взял на себя миссию оберегать Утрильо и удерживать его от беспутной жизни.

Комната, в которой стояли только кровать, стул, зеркало и мольберт, выходила на ступеньки улицы Мон-Сени; скверная лампа без абажура освещала стены.

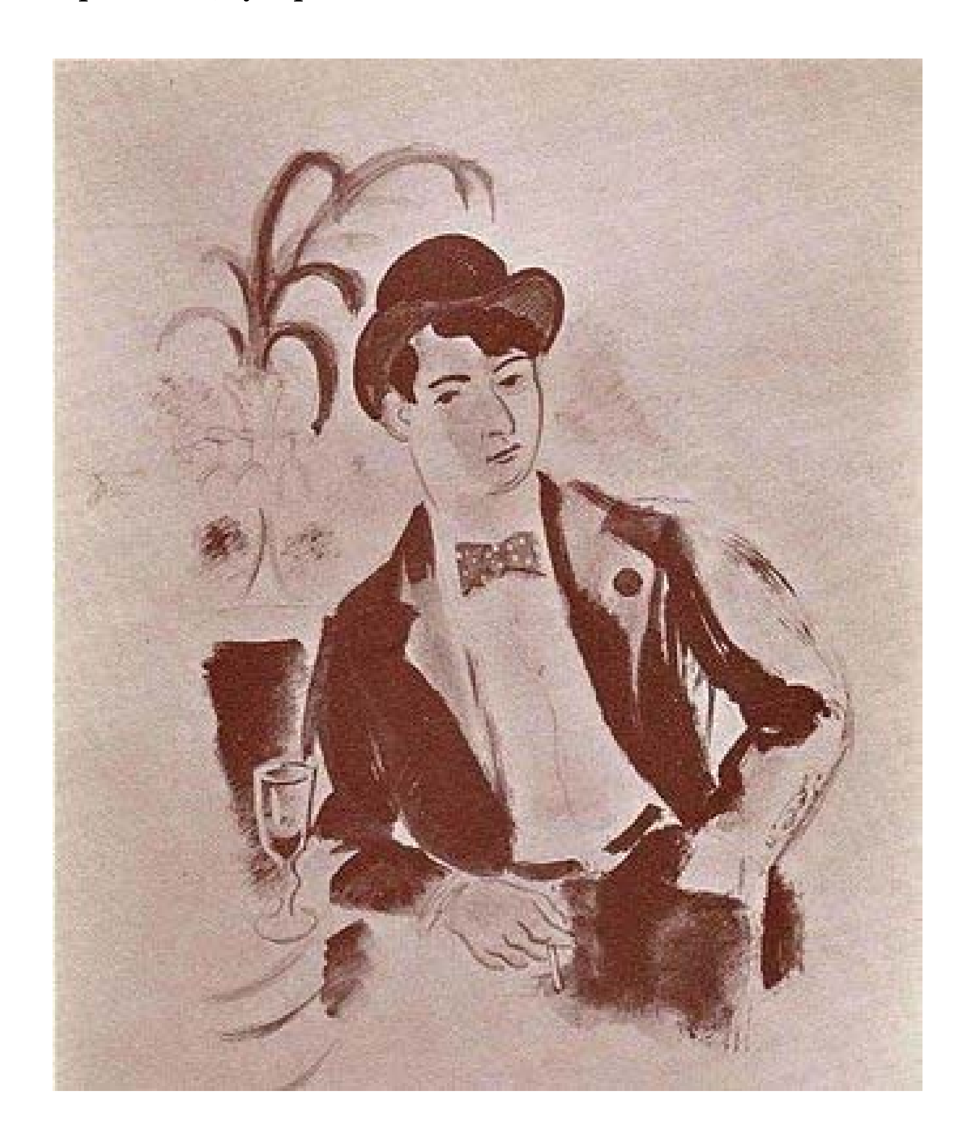
— М-сье Морис! — позвал папаша Г.

Он назвал мое имя. Утрильо посмотрел на нас из-за мольберта, за которым он работал.

— Вот этот господин пришел вас навестить,— объяснил квартирохозяин.

Квартирохозяин, опекун и ученик Утрильо, — м-сье Г. все эти роли выполнял с самым торжественным и победительным видом.

Он повторил снова:
— Вот этот господин...
— Да, да, — откликнулся наконец Утрильо.
М-сье Г. предложил мне стул.
— Присядьте, сударь!..



Морис Утрилло. *Портрет Франсиса Карко*

И, так как беседа между Утрильо и надоедливым посетителем (каким я должен был показаться) не налаживалась, папаша Г. сказал тоном светского человека:

— Это очень мило с вашей стороны, что вы посетили нашего м-сье Мориса. Если бы вы знали, как он работает с тех пор, как живет здесь! Вы не поверите — он совсем не выходит из дому! Я даже на-

хожу, что это чересчур. Такая работа вызывает жажду... Эссенция, цинковые белила — ведь все это очень вредно, это сушит глотку...

— Да, да, — подтверждал Утрильо.

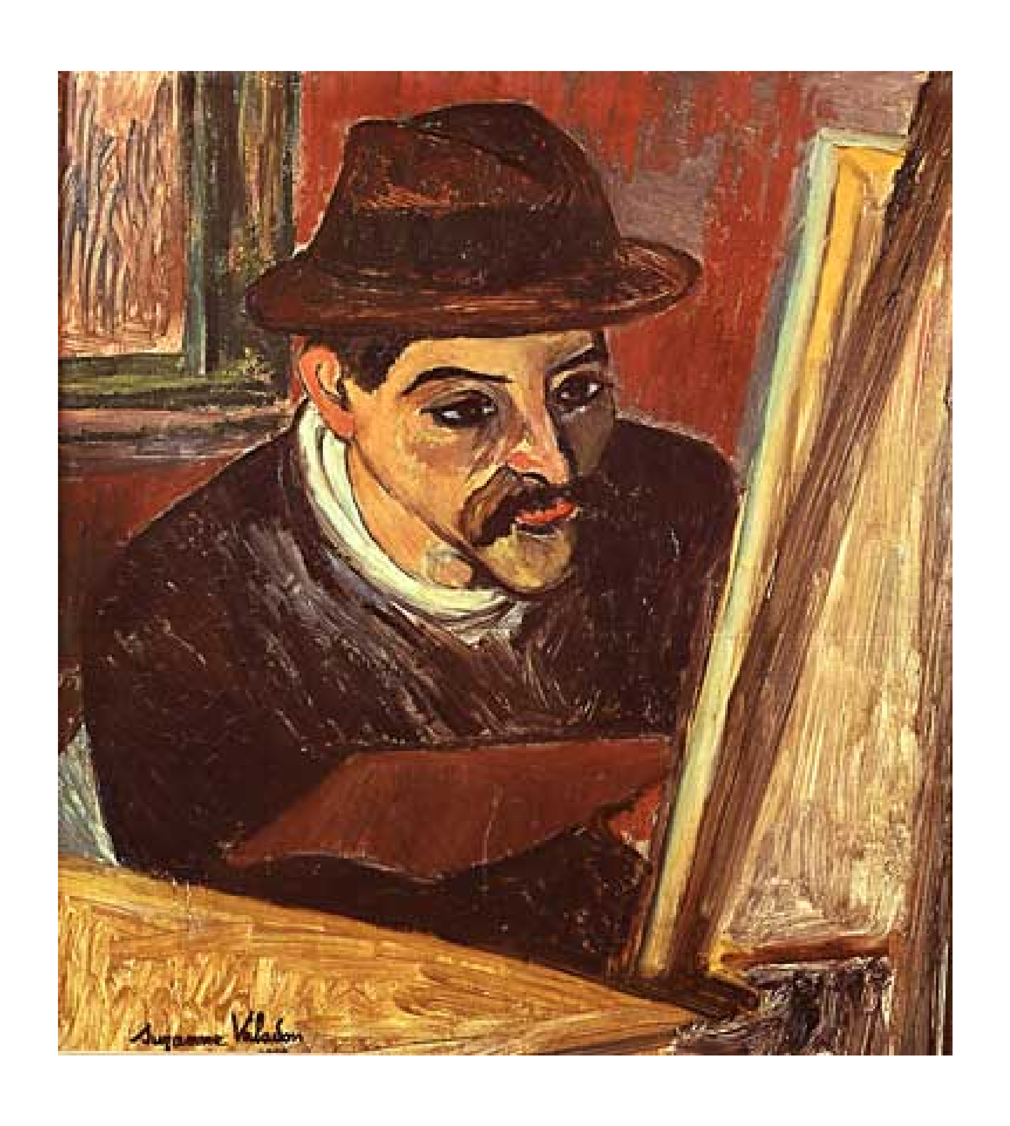
Он отложил карандаш и линейку, которыми расчерчивал картон на мольберте; робкая улыбка, смесь насмешки и покорности, казалось, застыла на его лице, напоминая гримасу мучительного тика. Что это была за улыбка! Я во всю жизнь не мог забыть ее! На бледной маске лица глаза лучились теплом и ясностью, как глаза ребенка или затворника. Но этому взгляду противоречила горькая складка губ. Нет, улыбкой ее нельзя было назвать. Слишком много было в ней принужденности, машинальности, неподвижности маньяка, угрюмой натянутости и скрытности.

— Ну, как дела? — осведомился м-сье Г., подходя к мольберту и указывая на него тем же жестом, каким он предложил мне стул. — Дозволено ли нам будет бросить взгляд на вашу работу, м-сье Морис?

Утрильо отодвинулся, и мне показалось, что он сейчас заговорит, — такое тоскливое беспокойство проступило на его внезапно ожившем лице. Но нет, он продолжал молчать. Молчать — и улыбаться все той же улыбкой. Мы могли сколько- угодно «бросать взгляд» на его картину, — не все ли ему было равно? Его работа не принадлежала ему. Она была собственностью м-сье Г., не знаю, в силу какого соглашения,— и м-сье Г. мог бы и не соблюдать приличий в такой мере, как он это делал, спрашивая у художника разрешения взглянуть на его работу.

Утрильо не переставал следить за нами, — и свет лампы падал прямо на его лоб, на желтые впалые щеки, на черные глаза, в глубине которых что-то тлело, как огонь под пеплом. В этом странном освещении резко выступали бугры на лбу, высоком, благородной формы, расширявшемся к вискам; жирные черные волосы; густой свод ресниц, прямая линия носа. Дальше, слабея и мешаясь с тенью, свет выделял подбородок, линию губ, едва угадываемую под темными свисающими усами; подчеркивал худобу щек, границы их и как бы отрезал дальше, за ушами, убегающую линию шеи. Я не мог оторвать глаз от этого грубыми мазками нарисованного светом портрета. Сколько в нем было страстной скорби, сколько напрасного жара, значительности, правды! А между тем — это был не только портрет, но живой портрет во весь рост, от старых стоптанных туфель, в которые был обут Утрильо, от подвязанных бечевкой брюк, сорочки без воротничка, жилета в пятнах, — до волос, которые он часто отбрасывал рукою назад со лба.

Рассматривая его, я с удивлением открывал, что он совершенно такой же, каким я его себе представлял по его произведениям. Во всем



Сюзанна Валадон. *Портрет Мориса Утрилло*

его существе сказывалось что-то пылкое до исступления — и тяжелое, мрачное; какая-то покорность, враждебность к себе самому, презрение; смесь естественности, скрытой чувствительности — и лукавства. Это трудно выразить словами.

М-сье Г. мог, сколько ему угодно, выражать восклицаниями свое восхищение и расхваливать мне талант художника. Я больше не думал о таланте Утрильо. Для меня он был уже не художник, но один из тех людей, которые, что бы они ни делали, вызывают в вас такое чувство, словно они зовут на помощь, и заставляют забывать, что они не столько любят свою работу, сколько в процессе ее стремятся убить в себе двойника, живущего в них и преследующего их без передышки.

М-сье Г. между тем в снисходительном тоне описывал мне жизнь, которую ведет здесь у него Утрильо, и бесконечные заботы, расточаемые им, папашей Г., удивительному жильцу. Слова лились с его губ как ровная, монотонная и неиссякаемая струя. Но о каком Утрильо он говорил? Слыша, как он называет имя сидящего перед нами человека, я готов был поклясться, что м-сье Г. думает о другом и очень боится, как бы в один прекрасный вечер этот другой не оказался на месте того м-сье Мориса, к которому относились все его похвалы... Что до меня, то меня интересовал уже не «м-сье Морис»... М-сье Морис? Мне странно было, что так называют У т р и л ь о. Это имя, такое мрачное и суровое, не вязалось с человеком, который откликался на слащавое обращение «м-сье Морис» слишком любезного папаши Г.

Я как-то не мог с этим примириться. С другой стороны, мне казалось, что м-сье Г., говоря со мной о художнике, избегает называть его «Утрильо» и что последний как будто находится настороже и готов неожиданно вскочить, если это имя будет произнесено. Но я не имел оснований делать какие-либо заключения, В конце концов надо было думать, что здесь налицо имелось соглашение, основанное на взаимной дружбе, а не одна только гнусная торговая сделка, в силу которой почтенный м-сье Г., чтобы вернуть свои издержки, решился бы держать артиста взаперти. Теперь, слава богу, людей нельзя запирать таким образом! К тому же раньше, чем познакомить меня с Утрильо, не показал ли мне м-сье Г. свои собственные произведения? В них заметно было поразительное влияние Утрильо, этого художника Монмартра. Словно изъеденные проказой стены, мутно-синие небеса, холодные и унылые виды предместья... М-сье Г. не упустил ничего, чтобы сделать свои произведения похожими на картины учителя или, по меньшей мере, заслужить одобрение последнего. На обороте полотен действительно красовались пометки крупным почерком Утрильо: «хорошо», «недурно», или: «поздравляю с успехом моего лучшего ученика Г.». И ученик, видимо, был счастлив и горд этими отзывами.



Морис Утрилло. *На Монмартре*

— Но я, — заметил он мне, — иногда добавляю сюда еще эффект снега. Это забавно и получается совсем не плохо. Как вы думаете?

Что мне было думать? Я пришел сюда, чтобы увидеть одного художника, — и вот нашел двух, не найдя однако того, кого я искал. Где же он был? В комнате имелся лишь этот чудаковатый «м-сье Морис», который не говорил ни слова, — и второй субъект, говоривший без умолку. Я кончил тем, что перестал понимать что-либо. Я собрался уходить. Открыл дверь. М-сье Г. провожал меня.

— Ну, что? — спросил он. — Вы скоро снова нас навестите?

— О, разумеется! — отвечал я ему.

— М-сье Морис будет очень рад!

— Не сомневаюсь. Оно и видно!

Любезный человек смотрел на меня с минуту, не произнося ни слова.

— Право, вас не должны удивлять манеры м-сье Мориса! Он всегда такой при первом знакомстве, но потом... Вы можете, не стесняясь, называть его просто «м-сье Морис». Это будет лучше... Потому что это ему напоминает то время, когда он еще был мальчишкой и им легко было руководить. О, я его хорошо знаю! Если бы я хотел увидеть, как он сразу, с единого маху, вскочит и убежит и не будет возможности его удержать, мне стоило бы только назвать его

«Утрильо»! О, м-сье, вы не имеете представления... Ничего больше, только это имя «Утрильо», — и он снова начал бы пить... И все бы началось опять сначала...

III

Макс Жакоб был скромнее; он жил в номере девятом на улице Равиньян, во дворе, в сарае, где единственным украшением служили знаки зодиака, зеленым и розовым мелом намалеванные на стенах и занимавшие, как загадочный ребус, посетителей этих мест.

Я познакомился с Максом у поэта Эдуарда Газаниона, который приютил меня в ту пору и так далеко распростирал обязанности гостеприимства, что ни разу не отлучался из Парижа, не переметив мелом всю свою мебель в том порядке, в каком мне следовало ее спускать в случае нужды.

Макс Жакоб совсем еще не был тогда святым из монастыря Сен-Бенуа-на-Луаре. Если он, бывало, и тащил кого-нибудь из нас в часовню св. Девы в Сакрэ-Кёр, где становился на колена, крестился и в экстазе бил поклоны, — то случалось это обыкновенно после попойки, и поэт, всегда его сопровождавший, просто не знал, куда деваться от смущения.

Дело в том, что Макс очень мало считался с соседями — ханжами. Он громко молился, умоляя св. Деву помочь ему побороть себя, называя ее «Мария», обращаясь к ней на «ты», поверяя ей все свои секреты и горести. Это страшно всех скандализировало, и его товарищ поэт, — деликатнейший человек, — готов был провалиться сквозь землю. Несмотря на свое преклонение перед Максом, он кончал тем, что убегал от него и потом вознаграждал себя в кабачке, заявляя молодым особам женского пола, считавшим его ветрогоном:

— Сударыни, не более, как час тому назад, я вместе с господином Максом Жакобом молил пресвятую Деву охранять ваши ночи.

— Охранять?!..

Тем временем наш приятель Макс медленными шагами подымался на Монмартр и заходил к аптекарю, снабжавшему его эфиром. Это вошло у него в привычку. Шествуя медленно в длинном клеенчатом плаще, подбитом красным, на манер того, который носят бретонцы в Квимпере, он добирался наконец до своего жилья, ложился и одурманивал себя эфиром. Ему начинало казаться, что он видит перед собою Христа, и он беседовал с ним самым дружеским и фамильярным образом о своих трудах и заработках (тема, точно так же интересовавшая Пуарэ и портного Дусэ) и рассказывал ему тысячу всяких историй.

В такие ночи мы могли сколько угодно стучать у дверей: никто не откликался, кроме привратницы да разгневанных старых дам, чьи окна выходили во двор: куда доносился запах эфира из квартиры «м-сье Макса».

— Подумайте, дорогая! — перекликались они из разных этажей, кудахтая от возмущения. — Ведь это — эфироман! Это просто невообразимо! Он губит себя наркотиками! Он разрушает свой организм!

— Извините! — возражал Макс Жакоб, высовывая нос в окошко. — Эфир, сударыня? Разуверьтесь!.. Вы не угадали: это абрикотин!

— Рассказывайте!

— Абрикотин — и ничего более! — уверял он.

И, захлопнув окошко, он снова погружался в свое занятие.

Однако Макса терпели в доме, благодаря его мягкости, его утонченным манерам, его постоянной готовности оказать услугу, его умению позабавить рассказом, со вкусом посплетничать. Если какая-нибудь бедная женщина из этого квартала, наслышавшись о нем, приходила к нему с просьбой уговорить ее сына, чтобы он вернулся домой и снова зажил вместе с семьей, — Макс водружал на голову маленькую жесткую шляпу, хранившуюся специально для таких случаев, и отправлялся к блудному сыну. И ему всегда удавалось вернуть дезертира к материнскому очагу. В другой раз являлась к нему тайком соседка и, без церемонии отрывая его от работы, просила погадать на картах. Макс бросал работу, раскладывал карты... Иной раз после ухода соседки он находил под листами своей рукописи мелкую монету и отдавал ее на улице «своим» нищим.

Каким дорогим и очаровательным другом был для меня Макс! Он часто сопутствовал мне в ночных прогулках по Парижу и говорил о поэтах. Помню одну его сказку, которую он поместил в каком-то журнале и которая начиналась словами: «Так как похоронное шествие сбилось с дороги, пришлось начать погребение сначала...» Его фантазия все преображала; она была непосредственна, жизнерадостна, прихотлива и необычайно богата. Она смеялась над злостью сухого умничанья, повергая на землю все его построения, чтобы из осколков создать маленькие сказки, сверкавшие и переливавшиеся тысячью радуг, как хрустальные шарики на солнце. Благодаря Максу я постиг, что есть или чем должна бы быть жизнь художника; постиг еще, что его жизнь не может ни утомить, ни показаться скучной. Самого Макса интересовало решительно все. Разве он не готов был всегда ловить слова прохожих на улице, угадывать их размышления, тайные их думы? Он умел читать по лицу, он одним взглядом видел человека насквозь и затем, делая быстрые выводы из своих наблюдений, сочинял экспромтом чудесные рассказы. Он был неистощим на выдумки. То он сочинял научное исследование «К вопросу о гувернантках в Мексике», то писал «Фанто-



Амедео Модильяни. *Портрет Макса Жакоба*

мы», то «Рождение орфизма», то стихи или маленькие поэмы. Как-то вечером Фредерик из «Проворного Кролика» попросил его написать что-нибудь на хранившемся у него корабельном журнале, или иначе борт-книге. Макс взял перо и сочинил следующую забавную «поэму»:

Девять часов вечера.

Где рифма к слову Фредерик?
Вот это — настоящий hic!
Уж лучше вдребезги напьюсь
И так в борт-книгу запишусь.

Два часа ночи.

На борт! Рояли фирмы Борд
И книги-борт!
Париж — что море. Он приносит сам
Сегодня вечером к твоим дверям,
Трактирщик берега туманов,
Охапку пены и обманов[1].

В этой маленькой поэме видна вся легкость и искрометность ума, которую он проявлял в тесном кругу друзей, а также его манера повернуть одно какое-нибудь слово так, чтобы придать всей фразе неуловимое очарование. Макс был «виртуозом слова», если можно так выразиться. Он отыскивал все возможные его значения, формы, оттенки, и это, неожиданно для всех нас, привело его к кубизму, который он и Пикассо на изумление публике ввели в моду около 1900 года.

Но что ему был кубизм? Забава, как и все прочее в жизни, — и только. Он предоставлял Аполлинэру диспутировать на террасе кафе Флоры о новом течении в живописи и ошеломлять с трудом понимавших его иностранцев. Они сдавались раньше, чем успевали что-либо понять. Для Макса же это была игра, которой он предавался, доводя ее до границ абсурда, куда влекла его необузданная фантазия. Чего только не был способен выдумать Макс Жакоб, чтобы ошеломить и одурачить людей! Он рассказывал нам знаменитую историю о ромбе, который Пикассо показал ему как-то в воскресенье, уверяя, что это — портрет сварливой женщины. Ромб этот очень позабавил Макса, и, чтобы довершить сходство, он усложнил вопрос и изобрел теорию куба. Я ничего не сочиняю. Сам Макс рассказал мне это все. Любопытно тут не то, что он болтал об этом по-

[1] Стихотворные отрывки переведены Елизаветой Полонской (*Здесь и далее прим. перев.*).

всюду, — он вообще был болтун, — а то, что, делая вид, будто он одобряет своих друзей, он вместе с тем пустил в ход мистификацию, которая столько художников сбила с толку и погубила.

Для Макса, — как это ни странно, — самым большим удовольствием было сводить с пути людей, имеющих благие намерения, и затем читать им наставления на тему о том, что надобно подняться над собственной природой и познать самого себя. Но кто слушал эти поучения? Максу только удивлялись — и злобились на него. Его же это очень мало трогало. Он удовлетворялся своей богатой фантазией — и имел постоянных «учеников» и скромных почитателей, которые умели использовать все его мысли, заимствуя у него все, что было возможно. Смиренные люди. Маленькие люди. Это было единственное его богатство. Больше у Макса, действительно, ничего не было.

Сколько раз я видел, как он одевался «для выхода»: натягивал старые брюки, слишком широкие, доставшиеся ему еще от отца, и завязывал на негнущейся манишке один из тех жалких узеньких черных галстуков, которые он, должно быть, тоже нашел в сундуках родительского дома, в Бретани. Он смеялся над этим. На его маленьком круглом зеркале, которое он дал мне однажды взамен большого, лучшего, имелись надписи, относящиеся к очень древним временам. Об этом мог бы кое-что рассказать Макле. Макле жил вместе с Максом и спал на стульях.

У Макса всегда можно было встретить какого-нибудь художника; он любил рисовать и зарисовывал все типы, которые наблюдал на улицах. Он писал гуаши, акварели, которые были его единственным средством к существованию; теперь эти работы Макса оценены по достоинству и разыскиваются всеми. Сальмон, который сделал опись всех рисовальных принадлежностей Макса, упоминает о карандашах, так называемых китайских, по одному су за штуку; об одном карандаше Контэ, преподнесенном пятнадцатилетним учеником, клиентом «Проворного кролика», юношей восторженным и щедрым; об одном синем карандаше и о нескольких пастелях — блеклых тонов охры, розового, голубого и нежно-зеленого. Художник купил даже один зеленый карандаш сорта «Рафаэль». Кроме того, он был собственником одной кисти, нескольких сухих красок, одной трубочки белил и одного флакона китайской туши, имевшего весьма нарядный вид благодаря непонятной надписи и желтой шелковой ленточке вроде тех, какими бывают перевязаны пачки сигар. Кстати, пепел от этих последних Макс, его гости и жильцы тщательно собирали в фарфоровый стаканчик. Вот, кажется, все, что имелось у Макса. И, наконец, на маленькой «чортовой кухне» — печке для сушки акварелей — всегда кипел кофе; печка топилась до тех пор, пока горела лампа. Максу нужно было это ради грунта его картин.

О, какой невероятный кавардак он устраивал из всех предметов своей «обстановки»! Когда друзья приходили навестить его, он лю-

бил «мазать» их портреты на чем попало. У меня есть мой, сделанный пером на клочке серой оберточной бумаги. Нас спросят: каким образом он мог променять Пикассо на Макле? Но Макс не вникал особенно в этот вопрос. Для Пабло Пикассо (которого он рекламировал, тысячу раз бегая к торговцам картинами), как и для всех, как позднее для Макле, он всегда готов был принести какую угодно жертву. Милейший Макле рисовал по ночам при свечке, а Макс устанавливал неподалеку от него стол, за которым он работал и днем, сочиняя в то время «Terrain-Bouchaballe». Обоих — художника и поэта — связывала братская дружба. Они делились друг с другом заработком, и это не удивляло никого из старых друзей Макса, не раз обедавших на его счет в ресторанчике на улице Кавалотти, где Макс пользовался кредитом.

И я тоже не раз обедывал у этого любезного трактирщика с улицы Кавалотти. Помню даже, как однажды зимним вечером, когда я уже было лег спать голодный, Макс явился ко мне, поднял с постели и увел меня. Я был ужасно голоден, а у нас обоих вместе имелось всего 20 су, которых хватило как раз на проезд в омнибусе до вокзала Сен-Лазар, куда Максу надо было поехать проститься с одним из своих братьев, ученым исследователем, уезжавшим в Бретань. Оттуда мы пошли обедать в кабачок Макса.

Мы уничтожили все, что нам подали. Но собака трактирщика, усевшись у наших ног, глядела на нас так просительно и жалобно, что я, не подумав, схватил грифельную доску, на которой записывались все счета Макса в трактире, вылил на нее остатки соуса и протянул собаке. Та слизала соус, а заодно — и весь долг моего друга. Так одно благодеяние рождает другое!

IV

Отсутствие денег нас в то время мало заботило; всегда можно было рассчитывать получить кусочек чего-нибудь у Фредэ в «Кролике» и даже стаканчик вина в обмен на песню, которой мы не начинали, пока не ставили перед нами новую порцию. Фредэ был человек неглупый; он любил артистов. У него можно было встретить художников, поэтов, писателей и тех очаровательных особ женского пола, которые были нам верными подругами и, деля нашу участь, оказывались настолько нетребовательными, что на вопрос, чем их угостить, отвечали:

— Тем, что всего дешевле.

Все эти девушки знали Макса и восхищались им, потому что он всегда очень искусно разрешал разные щекотливые вопросы совести, по поводу которых они с ним советовались.

Иногда, благословляя союзы, которые продолжались столько, сколько они вообще длятся на Монмартре, Макс Жакоб к благословению присоединял и дар в виде какого-нибудь рисунка. Эти рисунки, в зависимости от степени дружеского расположения художника, подписывались или очень длинной, или покороче, или совсем маленькой буквой J. Что величиной этого «J» измеряется симпатия Макса, знали только немногие из нас и честно хранили тайну.

Только один — талантливый актер, по имени Оллен — позволил себе как-то просветить всех находившихся в неведении на этот счет друзей Макса; Оллену доставляло злорадное удовольствие всех перессорить и натравить друг на дружку. Этот Оллен был одним из злых гениев Макса: он таскал его по кабакам, спаивал, мучил его, надоедал своим оригинальничаньем. Никто из нас не видал его на сцене, так как мы редко покидали Монмартр. Но в различных «заведениях», где мы с ним встречались по ночам, о нем шла слава, будто он выступал в «Дорожном плаще» в Марсели вместе с де-Максом. Этого было достаточно, чтобы возбудить в нас почтение к Оллену. Но Оллен был не только актером. Когда фантазия его разыгрывалась, с ним невозможно было соскучиться.

В течение нескольких недель, как-то осенью, этот забавник целые дни рыскал по магазинам Парижа под предлогом покупки пальто. Выбрав пальто по вкусу, он оставлял в кассе магазина свой адрес, — и те из нас, кто, не имея в это время пристанища, ночевали в мансарде у Оллена, регулярно каждое утро просыпались от ударов в дверь и криков:

«Из Лувра!», или: «из Самаритэн!», «из Бон-Марше!», «из Пигмалиона».

— Ко мне нельзя, — отвечал серьезно Оллен. — Оставьте покупку внизу, у привратницы!

Но, когда он справлялся потом у последней, нет ли для него пакета, толстуха возражала, смеясь:

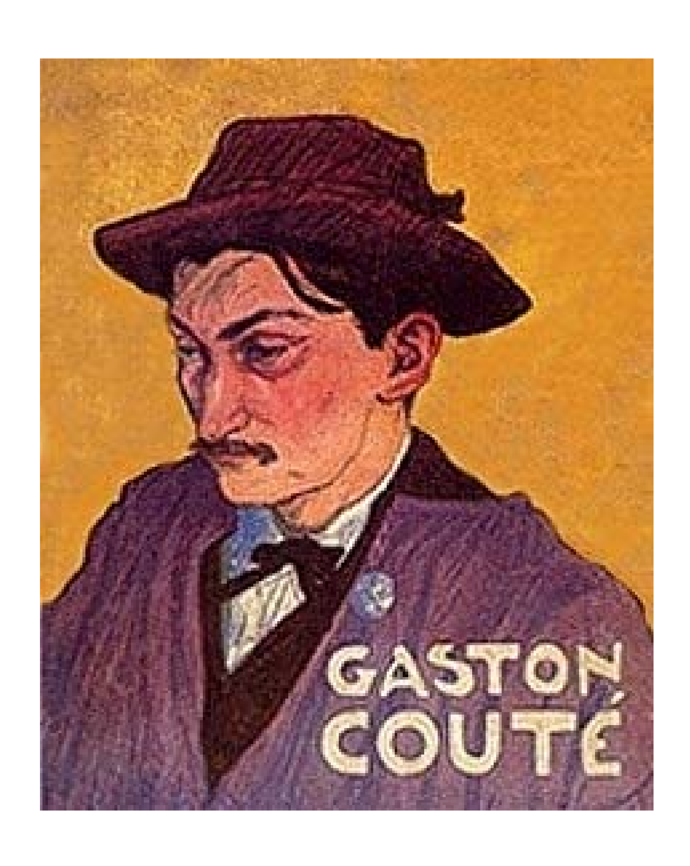
— О, м-сье Оллен, неужели вы думаете, что они так глупы?!

Однако Оллен не сдавался и в тот же день возобновлял свою беготню по магазинам, объясняя нам совершенно откровенно:

— Нужно только, чтоб артельщик оказался простаком, и тогда можно одеться, не истратив ни гроша. Погоди ... Голову даю на отсечение, что рано или поздно это мне удастся.

Но ту зиму Оллен проходил без пальто.

Обычным спутником и товарищем Оллена был сочинитель песенок, Гастон Кутэ, которого часто видели в «Проворном кролике» мертвецки пьяным и лежащим на лавке. Этот Кутэ, автор «Песен парня, который неладно кончил», несомненно окончил бы свою жизнь в больнице; но он как-то затесался в нашу маленькую компанию, и Оллен нянчился с ним, как мать, потому что, если у нас не бывало денег, Кутэ пускал в ход свои стихи и песенки — и нас кормили бесплатно.



Гран-Жуан. *Гастон Кутэ*

Как-то утром, на улице Лепик, в кабачке, посещаемом «девицами» и праздношатающимися, Кутэ оказался настолько пьян, что не мог декламировать, и Оллен хотел, чтобы Макс заменил его. Макс же, всецело, занятый своим близким обращением, говорил лишь о пресвятой Деве, смущая этим всю публику. Мы с беспокойством спрашивали друг друга, чем все это кончится, когда в кабачок вошла еще одна девица, видимо утомленная бурно проведенной ночью. Макс тотчас решил наставить ее на путь истинный. Он направился к ней, заговорил, стал восхвалять утешения религии. Оллен чуть не ломал руки от отчаянья. Девица слушала с открытым ртом. Но ее покровитель — огромный негр — вдруг двинулся на Макса и, раньше, чем кто-либо из нас успел вмешаться, стиснул в своих огромных лапах руки Макса и сломал ему большие пальцы. После того, как Оллен разгласил по всему Монмартру этот прискорбный случай, мы разглядели, что он за человек, и перестали бывать у него. К тому же он скоро уехал в какое-то турнэ.

Оставался второй злой гений Макса, но этот был совсем в другом роде: математик Пренсэ, очень тонкого ума человек.

К нему относились с уважением, так как он хорошо зарабатывал, занимаясь какими-то спорными судебными делами, и, всегда прекрасно одетый, заметно выделялся за столом у Фредерика, держа себя этаким слегка разочарованным джентльменом, насмешливым и меланхоличным. Беседа с этим джентльменом имела свойство доводить Макса до исступления и вдохновлять его часто на такие остроумные ответы, что никто не мог против них устоять. Никто, кроме Пренсэ. Этот не давал сбить себя с позиции и внезапно, своей вкрадчивой логикой, побивал Макса и уничтожал весь эффект его замечаний.

Итак, в нашей компании было всего понемножку в эти счастливые годы, когда Пикассо, для пущего эффекта, решительно провозглашал: «Если ты пишешь пейзаж, смотри прежде всего, чтобы он напоминал тарелку».

Одно событие тогда было чревато последствиями для кубизма. Брат Макса, которого мы называли «исследователем», возвратился из колоний и привез с собой свой портрет, нарисованный, кажется, в Дакаре, каким-то негром.

Несмотря на то, что внимание этого негра, по-видимому, было обращено не на сходство портрета с оригиналом, а на отделку деталей, — портрет поразил наших художников. Они заметили, что золоченые пуговицы мундира были нарисованы не на их обычном месте, а расположены в виде ореола вокруг лица портрета. Потрясающее открытие! Идея диссоциации предметов была найдена, принята, и она, должно быть, вдохновляла Пикассо во всех его первых изысканиях, так как очень скоро после этого открытия он провозгласил: «Если ты пишешь портрет, помести ноги отдельно, в сторонке».

И все аплодировали.

«Успех господина Пикассо, — писал Роже Алляр, — есть чудо нашего времени. Столько терпения в соединении с решительностью, столько кропотливой старательности под беспечным полетом фантазии, расчетливой смелости, осторожности — под видом легкомыслия; творчество строгое и выдержанное в своей крайности, свободное в своей искусственности, — вот что, сочетаясь, придает такое странное очарование этой личности. Всем известна назидательная история, которую приводят авторы школьных проповедей: история о том, как м-сье Лафитт поднял булавку в передней банкира и как этот банкир, пораженный такой бережливостью, предложил ему место, в котором собирался ему отказать. М-сье Пикассо всегда умеет подобрать булавку в подходящий момент, даже когда это приходится проделывать в процессе опасной и длительной борьбы».

Существует характерный анекдот о Пикассо, заслуживающий того, чтобы его здесь привести.

Рыжий Вламинк открыл в каком-то ресторанчике негритянскую статую и приобрел ее. Вламинк был тогда неразлучен с Дерэном, с которым они вместе основали знаменитую школу в Шату. Он принес свою статую к Дерэну, поместил ее посредине ателье и, созерцая ее, изрек:

— Почти так же красиво, как Венера Милосская, а? Ты не находишь?

— Совершенно так же красиво, — тотчас откликнулся Дерэн.

Друзья переглянулись.

— Не пойти ли нам к Пикассо? — предложил Вламинк.

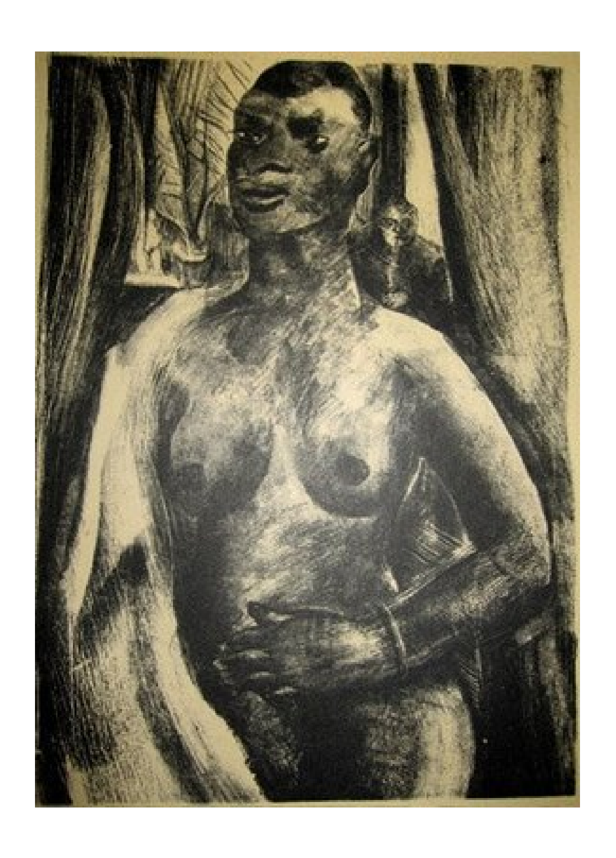
Они ввалились к Пикассо со своим деревянным чурбаном, и Вламинк опять сказал:

— Почти так же прекрасно, как Венера Милосская. А? Да ... почти!

— Ничуть не хуже! — подтвердил и Дерэн.

Пикассо размышлял. Он выдержал паузу и, наконец, найдя нужным перещеголять обоих смелых ценителей, подтвердил:

— Гораздо лучше!



Люк-Альберт Моро. *Черная проститутка*

Да простит мне Пикассо, — но этот маленький анекдот очень характерен, и тот, кто рассказал мне его, я надеюсь, не будет от-

пираться, когда прочтет его здесь. Точно так же, как и Адольф Баслер, который в своем труде «Живопись — новая религия» говорит: «Пикассо тогда счел своим долгом носиться с неграми, как носился раньше с египтянами, с финикийцами, с помпейскими декораторами, с коптскими ткачами ковров, с художниками всех стран и народов».

Достаточно было увидеть основателя кубизма в «Кролике», где стены украшали полотна «синего» периода, чтобы убедиться, каким он теперь окружен ореолом. Даже когда он отсутствовал, — а мне- очень редко удавалось застать его там,—о нем напоминала та особая атмосфера, какую вызывала его личность и его парадоксы. Негритянские живопись и скульптура, вошедшие в моду благодаря Пикассо, Вламинку и Люк-Альберту Моро, теперь уже завоевали себе место в области классического искусства. Им-то наше поколение в значительной части обязано тем, что оно не погрузилось в бесполезное фантазерство, в сарказм или дурачества.

* *
*

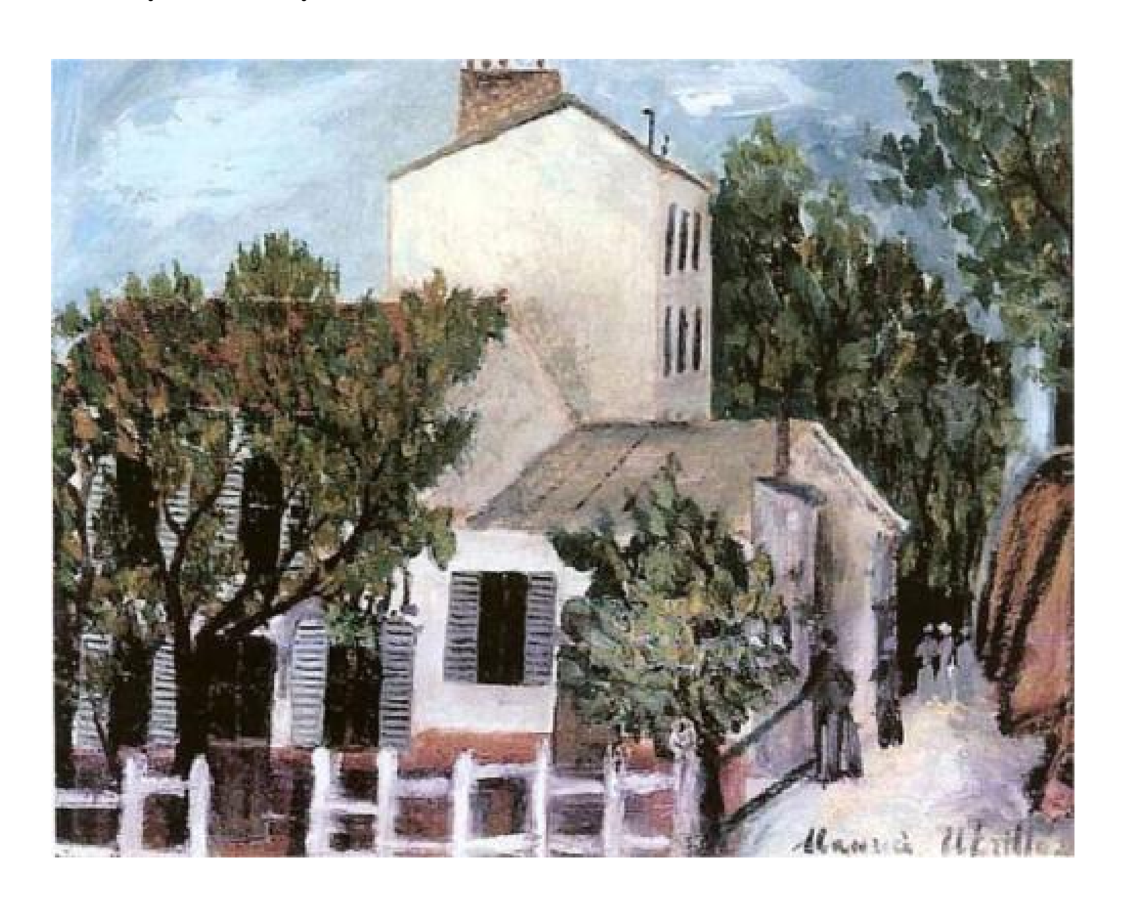
Надо сказать, что в то время в «Кролике» часто бывал молодой человек, называвший себя Пьером Мак-Орлан и обращавший внимание всех завсегдатаев Фредэ своими манерами и замечаниями.

Его слушали. Он за столом играл роль председателя, и никто не позволил бы себе прервать его, когда он затягивал припев «Легиона» или «Батальонеров».

Мои песни не выдерживали никакого сравнения с песнями Мак-Орлана; но, услышав их однажды вечером, когда случай привел меня в «Кролик», он тотчас усадил меня подле себя и заявил, что они совершенно в его вкусе,

У меня осталось очень яркое воспоминание о том вечере. Дело в том, что я никогда не бывал в этом кабачке Монмартра раньше и не знал там ни одной живой души. Все, что мне было известно о посещавшем его столь блестящем обществе, — я вычитал, еще в бытность мою в провинции, в журнале «Новое перо». Журнальчик восхвалял прелести указанного заведения и обещал всем подписчикам бесплатную выпивку в «Кролике». На обложке был даже помещен фотографический снимок «Кролика». Я его вырезал вместе с «контрамаркой на выпивку» и в течение пяти лет носил то и другое при себе в старой записной книжке, с которой никогда не расставался. В тот вечер я было собирался этой «контрамаркой» уплатить за поставленный передо мной стакан вина, но «капитан» Мак-Орлан решил иначе, и с тех пор я увеличил собой число клиентов знаменитого кабачка, и никогда Фредэ не брал с меня ни одного су.

Так завязываются в жизни узы дружбы, если вам повезет и вы неожиданно набредете на человека, словно созданного для того, чтобы эту дружбу сделать постоянной и крепкой. Пьер Мак-Орлан кормился самой неинтересной литературной работой, кроме того, сочинял песни, которые продавал в предместье Сен-Дени по цене самой ничтожной, и рисовал в каких-то никому неизвестных журналах. Все это давало очень мало денег, мало даже по тогдашнему нашему масштабу.



Морис Утрилло. *«Проворный кролик»*

Но зато это давало возможность «капитану» под псевдонимом Мак-Орлана прокладывать себе дорогу, — и «Ле-Журналь»[2] печатал его рассказы.

Его полные юмора рассказы совершенно соответствовали шотландскому имени автора. Чем объяснялся его псевдоним? Пари, шуткой? Я скорее готов думать, что, приняв псевдоним «Мак-Орлан», этот симпатичный малый просто уступил своим естественным склонностям. Он любил все виды спорта, усердно занимался ими и, когда я его знал, был членом разных спортивных обществ. Кроме того, он два года провел в приморском городе, и воспоминания об

---

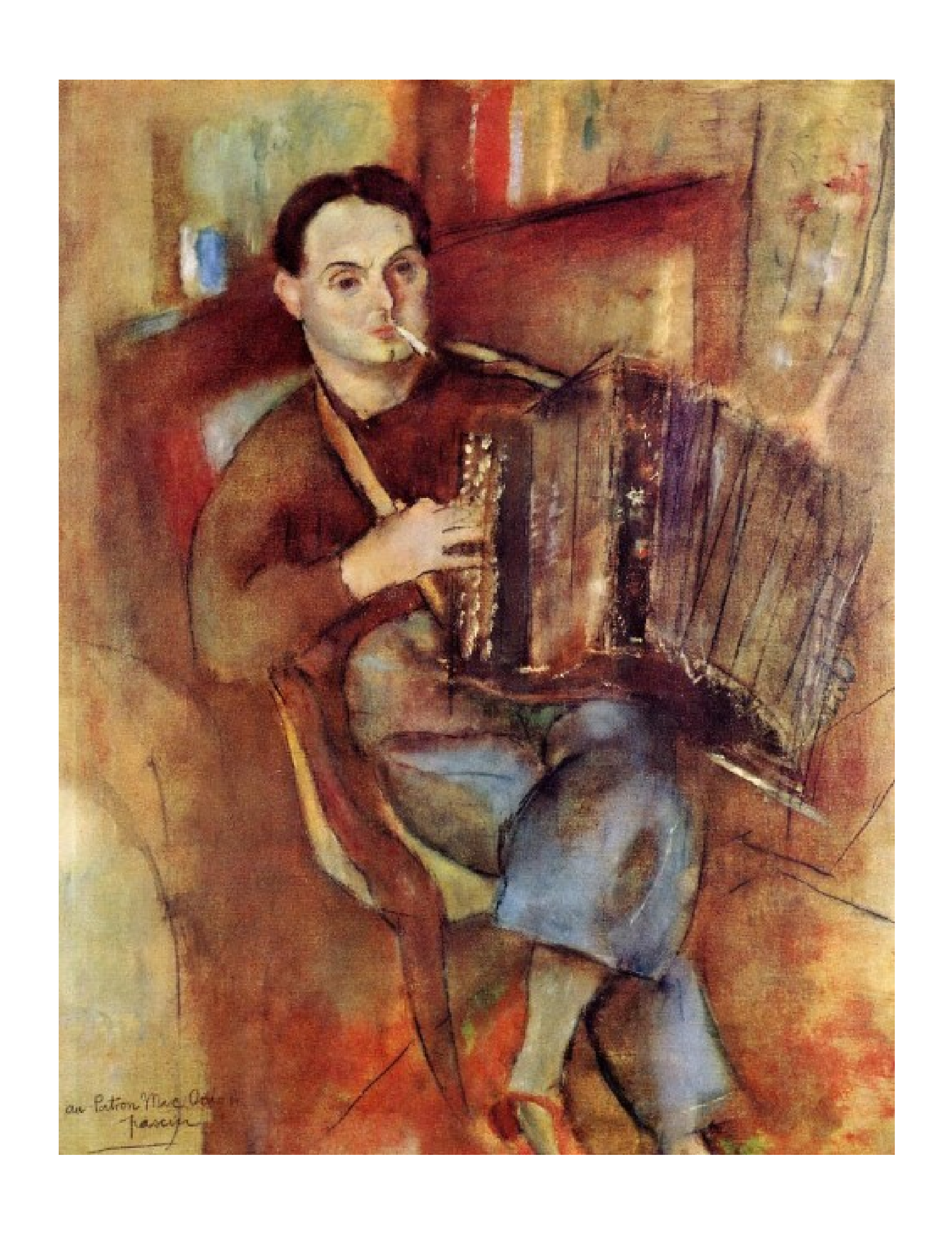
[2] «Ле-Журналь» — самая распространенная в Париже ежедневная газета.

этом времени побуждали его одеваться не то спортсменом, не то ковбоем. Добавьте к этому поклонение случаю, удаче, всем нам свойственное в те времена, богему, авантюризм, негров, кубизм и какое-то смутное, глухое предчувствие событий, которым предстояло перевернуть мир, — и вам станет понятнее Пьер Мак-Орлан под тем внешним обликом, какой ему угодно было себе придать.

Этот внешний облик создался благодаря тому, что Пьер, посещая кофейни в большом портовом городе, часто встречался там с матросами всех наций, с офицерами и с теми беспокойными представителями четырех человеческих рас, которые всегда околачиваются в подобных местах и добывают средства к существованию самыми фантастическими способами. Пьер подражал им, заимствовал их методы и манеры, стремясь с присущей ему энергией, которую легко было прочесть в его чертах, быть всегда на высоте положения. Это был настоящий мужчина, и жизнь сделала из него нечто подобное тому солдату Киплинга, который в оковах не жалуется на судьбу, а заявляет твердо: «За то, что я знаю, я расплатился сполна».

Как и киплинговский герой, симпатии к которому он не пытался скрывать, Пьер Мак-Орлан заплатил дорогой ценой за свой опыт. Но расовые черты — веселость и беззаботность — значительно смягчали и уравновешивали суровость этого опыта.

Около 1900 года Пьер дебютировал в качестве художника, выставив в галерее Саго несколько полотен, которые остались совершенно незамеченными, к счастью для почитателей великого романиста, каким стал впоследствии Мак-Орлан. В ту далекую эпоху живопись не могла прокормить человека, и Пьер, не имевший гроша за душой, был вынужден искать других путей. Для него Монмартр долгое время был лишь уголком широкого мира, куда он возвращался после какой-нибудь неудачи, чтобы разжиться деньгами. Он оставался там неделю-другую, пока беспокойный дух не толкал его на поиски какого-нибудь нового дела, новой авантюры: он то отправлялся искать счастья во Флоренцию, то оставался два года в Брюгге, в Антверпене, в Sluis, в Амстердаме. Он занимал самые различные должности, от должности корректора в типографии в Руане — до сторожа виллы какого-то иностранца в глухом, почти вымершем селении. Он брался за всякую работу, какую ему предлагали, так как всегда находился в бедности и вечно стремился от нее избавиться. Увы, как обманчива фортуна! Как коварна она была по отношению к юноше, который, не видя возможности прокормиться кистью и палитрой, занялся писанием стихов! Ибо Пьер Мак-Орлан был и поэтом. Поэт — и спортсмен, стрелявший на бельгийских дюнах малосъедобных, светлоперых морских птиц — и храбро, с открытым забралом, сражавшийся с судьбой. Из первых его поэм ничего не уцелело. А между тем в них уже чувствовались тот внутренний ритм, та искрометность, та напряженность и трепет, которые мы встречаем



Жюль Паскин. *Портрет Пьера Мак-Орлана*

позже в его «Inflation sentimentale» и о которых можно судить хотя бы по следующим стихам о Монпарнасе:

Сюда-то прямо из Америк
Высаживаются на берег,
Еще порока не прозрев,
Ватаги белокурых дев.
Они с наивностью глядят
На наш общественный разврат.
Их слизистые оболочки
Ждут страсти пылкой и живой,
Чтобы глазам к исходу ночки
Блеснуть порочной синевой.

Быть может, лучше в Мак-Орлане — тут, в этой характерной для людей его сорта извращенной любви к «сладостному безумию» и «горьким восторгам». Кроме «белокурых дев» были и иные девушки, которые привлекали его в Антверпен. Я ясно представляю себе Мак-Орлана, ищущего «путей» в матросских харчевнях. В этом поэте «из маленьких» кипело страстное и самому ему еще неясное стремление выявить свою индивидуальность, выразить на языке совсем новом, который скорее заставит слушать себя, радости и разочарования своей юности. Все его угнетало, мучило, толкало его на поиски себя самого среди жестокого и грубого существования, когда уже без всяких средств, в крайней нужде, добрался он до Парижа. Я вспоминаю, как мы, собираясь у Макса Жакоба на улице Равиньян, говорили по этому поводу, что поэт, оставленный целым светом и истерзанный самыми грубыми разочарованиями и неудачами, только тогда и начинает сознавать, для чего он рожден и какой удел его ожидает.

Вот от какого глубокого и неисправимого зла страдала тогда молодежь. Но дружба помогала нам переносить это зло, дружба, соединявшая нас, и некоторый опыт, пожалуй, и скороспелый и неполный, но дорого нам доставшийся. Все мы, каждый по-своему, заплатили за наши лучшие годы печальным знанием жизни, — и только самые слабые сумели избежать этого.

Чтобы иметь представление, о чем я говорю, и уловить, что именно помогало нашей братии не унывать и не принимать ничего слишком серьезно, вам бы следовало послушать Мак-Орлана, когда, возвратясь из какого-нибудь длительного путешествия, он рассказывал нам свои приключения. Так, например, зимуя в Голландии, он по ночам регулярно отправлялся на борт стоявшего на якоре в открытом море судна, приглашенный в гости тем или другим капитаном. В каюте на столе между хозяином и гостем ставилась бутылка виски, и каждый по очереди отпивал из нее большой глоток.

После второй или третьей бутылки хозяин, до того не издававший ни одного звука, становился разговорчив. Но, так как, в девяти случаях из десяти, он не знал французского языка,— он прибегал к именам собственным; после каждого имени с триумфом поглядывал на Пьера, останавливался, наблюдая произведенный эффект, потряхивал головой, вскрикивал что-то; Мак-Орлан подавал реплику, и они с большим чувством пожимали друг другу руки.

— Наполеон! — произносил, например, с ужасным шведским или калифорнийским акцентом моряк. — Наполеон!

— Ага, да!

— Да! Да!

Минута молчания, напоминающего высиживание яйца курицей, — потом оба смеются, и Мар-Орлан подхватывает:

— Совершенно верно, Наполеон... А Огненная Земля, а, братец?.. Огненная Земля?..

— Ого! Да,

— А Пондишери?

— Знаю, как же! — подтверждал моряк.

— Да... Пондишери... Ого!

И в таком духе они продолжали до самого утра. Быть может, из этих странных визитов, во время которых собутыльники могли переговариваться только именами собственными, Мак-Орлан вынес ту сжатость и четкость речи, которая так восхищает в его книгах, и отличающую их сосредоточенность и напряженность чувства.

Никакой лишней болтовни.. Слова, факты, несколько искренних восклицаний, — не достаточно ли этого между людьми одной формации? Мак-Орлан никогда не увлекался процессом говорения. За табльдотом у Фредэ он, покуривая свою глиняную трубочку, слушал больше, чем говорил. И ему достаточно было от времени до времени бросить короткое замечание, чтобы все речи вокруг него, за минуту перед тем казавшиеся бессвязными, вдруг приобрели неожиданную и странную значительность.

V

Его первыми по времени друзьями были Гильом Аполлинэр, Сальмон, Макс Жакоб, потом — Варно (которого звали «папашей Дэдэ») и Ролан Доржелес. Последние два, так же, как Мак-Орлан, в ту пору рисовали: Варно — уличных девчонок и посетителей пивных, а Доржелес — большие планы и чертежи, так как он готовился стать архитектором. Не объясняет ли это отчасти сюжет его «Пробуждения мертвых»? Несмотря на такие солидные виды на будущее, Доржелес носил длинные волосы и драпировался в плащ романтика самого высокого полета. Варно тоже отдавал дань этому

нелепому увлечению. Его приятная наружность всюду привлекала внимание девушек. Доржелес, предпочитавший журналы и газеты нашим историям и большие рестораны — нашим скудным трапезам, Доржелес, заглядывавший в «Кролик» лишь для того, чтобы обличать то, чему там все поклонялись, переменился однако меньше, чем все мы. Хоть он теперь и расстался со своим прежним костюмом и остриг волосы, — его энтузиазм, его великодушие, его живость и изумительный жар души остались все те же. Всегда он готов был сражаться с ветряными мальницами, включая и те, что украшали вершину холма на Монмартре и вертелись лишь под действием ветра парадоксов. Кто на Монмартре не помнит приключение с ослом милейшего Фредэ? Доржелес поклялся как-то прославить это животное и при случае держал пари с художниками, что на выставке «Независимых» произведение этого осла окажется самой новой и оригинальной из всех картин. Пари было принято. Доржелес почесал затылок и в сопровождении «папаши Дэдэ» отправился к Фредерику, таща в своей свите еще и полицейского, которому заявил, что необходимо будет немедленно составить протокол. Добрый малый не подозревал шутки и был смущен почетным значком министерства народного просвещения, который Доржелес нацепил специально для того, чтобы внушить к себе уважение.

Пришли к Фредэ. Приказали привести осла. Привязали ему к хвосту кисть и насыпали корму.

— Только не обижайте моего Лоло, — твердил Фредэ. —О, это славная скотинка!.. У него в характере — ни капельки коварства.

— Подожди, не мешай нам, — возразил Доржелес. — Увидишь сейчас, что будет ...

Кисть обмакнули в краску, «папаша Дэдэ» приблизился к Лоло с большим полотном, и, так как славное животное во время еды выражало свое удовольствие взмахами хвоста, кисть начала свою работу и задвигалась по полотну. Изумленного же полицейского заставили писать протокол:

«Ввиду того, что кисть была укреплена на конце хвоста осла господами Доржелес и Варно в присутствии господина Фредерика, собственника означенного осла...» и т. д. и т. д.

А кисть гуляла и гуляла по полотну, и мало-помалу невообразимая пачкотня покрыла поверхность последнего. «Картина», которой предстояло вызывать восхищение снобов, была готова. По правде говоря, это произведение недолго обдумывалось его творцом, но трубки с краской быстро пустели, — и среди пачкотни на полотне можно было уловить по временам очень любопытные красочные эффекты, оригинальные замыслы, символы и образы.

— Ну, что скажешь?! — восклицал Доржелес. — Твой славный Лоло будет иметь успех! За его первую картину заплатят хорошо.

— И полученное пропьют у тебя, будь покоен,— заверил Варно Фреда, потиравшего себе лоб.

— Господа! — перебил полицейский, совершенно сбитый с толку этим странным протоколом на тему из зоологии и живописи. — Под каким названием записать эту... картину?

— Честное слово ... — начал Доржелес в затруднении.

— Напишите: «Натюрморт»», — предложил Фредэ.

— Нет, нет! — запротестовал Ролан. — Погодите ...

Он толкнул локтем своего сообщника и спросил:

— А ты как думаешь?

Папаша Дэдэ ничуть не затруднился:

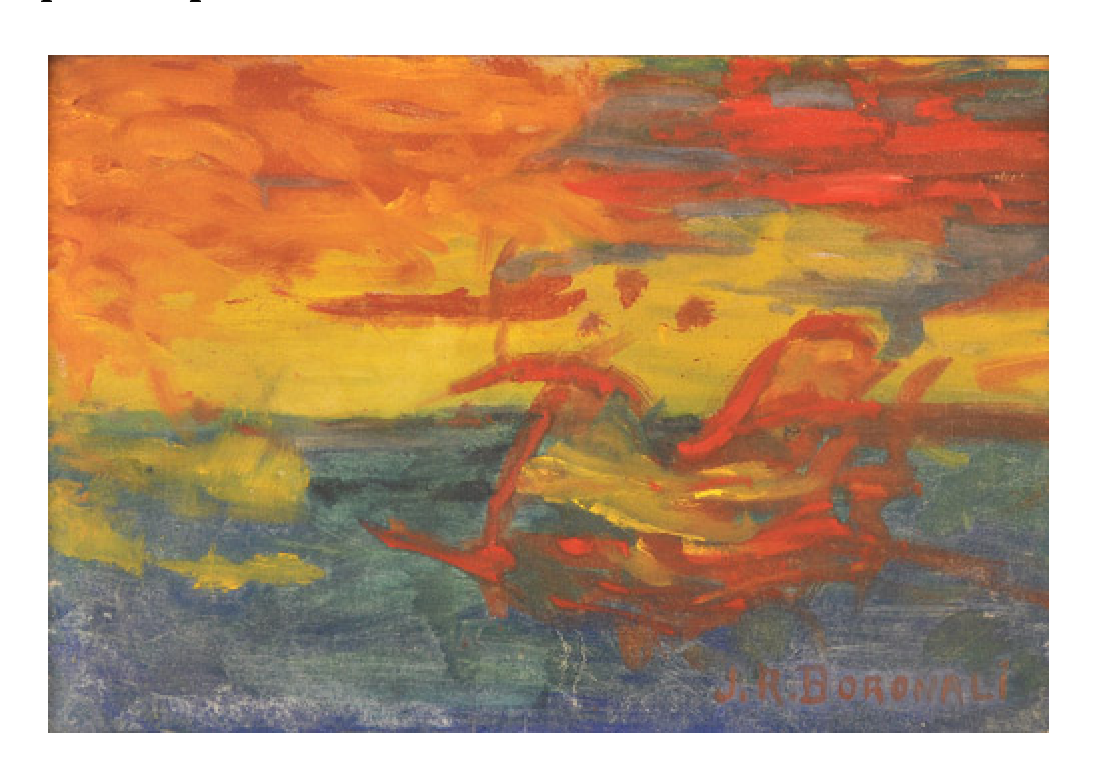
— Можно, — начал он, — назвать это...

— Стоп! — вдруг хлопнул себя по лбу Доржелес, которого осенила идея. — Полицейский, пишите!

Он продиктовал:

— Название картины: «И солнце закатилось за Адриатическим морем».

Потом подписал на полотне крупными буквами: «**Иоахим Рафаэль Боронали**».



Иоахим Рафаэль Боронали. *И солнце закатилось за Адриатическим морем*

Успех этой картины на выставке «Независимых» превзошел все ожидания. Во всех залах любопытные и знатоки спрашивали только о картине осла и теснились, чтобы лучше рассмотреть ее. Все хо-

хотали, выражая удивление и восторг по поводу того, что в этом году самые замечательные экспонаты были превзойдены картиной славного Лоло и что Доржелесу так легко удалось выиграть пари.

Такие школьнические выходки были во вкусе того времени, а у Доржелеса было много изобретательности, смелости и безграничная потребность растрачивать себя на пустяки. Не он ли поставил в галерее античной скульптуры в Лувре бюст, который взял у одного из своих друзей — скульпторов, поклявшись последнему, что весь Париж о нем скоро заговорит? История эта наделала скандал, так как бюст преспокойно стоял в галерее среди классических образцов скульптуры, пока сам Доржелес и его товарищ ваятель не начали его рекламировать. Доржелес на каждом шагу умел найти случай одурачить глупцов; то он в каком-нибудь отчете о выставке Салона, рассуждая о современной живописи, приводил мнимые утверждения каких-нибудь ученых авторитетов, то, толкаемый своей любовью к проказам, он вдруг вывешивал на какой-нибудь улице дощечку с объявлением: «Проезд закрыт», втыкал колья в мостовую, ставил фонари, которые по вечерам сам же зажигал, и останавливал таким образом уличное движение. Ничего не могло удержать его или устрашить.

Уроженец Артуа, как и Мак-Орлан, — Доржелес в своих дурачествах, вранье и высмеивании людей доходил до крайности. От дней, проведенных в «Эколь де-Боз'Ар»[3], он сохранил традиции, ко-торые всегда в почете во всех ателье на улице Бонапарта и которые возмущают буржуа. Но в защиту Доржелеса надо сказать, что он умел вносить нечто свое и новое во всякую шутку и извлекать из нее мудрые выводы. Нельзя было не смеяться! Что касается его успехов в школе, то сам он рассказывал, что они были невелики и что от своего учителя он получал лишь выговоры и замечания.

— Это — нога? — воскликнул однажды Жером, наблюдая, как бедняга Доржелес надсаживается за работой. — Нет!.. мой мальчик... Это все, что хотите, только не нога! Честное слово! Вы рисуете как слепой, дружок!

— Неужели? — только и сказал смиренно Доржелес.

— Да разумеется!

Доржелес не протестовал. Он удовольствовался тем, что за спиной учителя ухмыльнулся самым радостным образом, и с этого дня ноги его не бывало в мастерской.

Слепой! Не знаю, кто был слепой — ученик или учитель! Ибо главное достоинство автора «Деревянных крестов» — это именно его зоркость в отношении и людей и вещей. Доржелес никогда не истолкует неверно, на авось, какое-нибудь явление жизни: раньше, чем писать, чем подобрать слова, он вглядывается. И, о чем бы он ни писал, ясность его восприятия и его проницательность таковы,

---

[3] «Эколь де Боз'Ар» – парижская высшая художественная школа.

что с первой строчки они поражают читателя. Да, этакой «слепоте» можно позавидовать!



Неизвестный художник. *Портрет Ролана Доржелеса*

Но этой реалистической манере письма, в которой здравый смысл соединялся с юмором, Доржелес откровенно предпочитал фарс и сатиру. Ему и Гюсу Бофа мы обязаны удивительным обозрением, которое он сочинял для «Ле Сурир»[4], а также и сотней статей и репортерских заметок, невероятно забавных и остроумных. Если бы не его советы, Мак-Орлан, который тогда еще «искал себя» и рисовал для журналов, и не подумал бы заняться серьезно своими сказками и рассказами, потому что считал себя только поэтом и хотел им оставаться. Не будем сожалеть о том, что вышло иначе. Мак-Орлан — юморист развил свои способности, обогатил язык. Он создал смесь, крепкую, как коктейль, и такую же приятную на вкус. Мак-Орлан был не единственный, кому пошли на пользу советы друга. К мнению этого друга стоило прислушаться: он был поэтом. В доказательство приведу стихотворение в восемь строчек, сочиненное Роланом Доржелесом, когда он уезжал в Индокитай, и присланное мне в качестве прощального братского привета:

[4] «Ле Сурир» – парижский юмористический иллюстрированный журнал.

Марсель, воспоминаний яд...
Из порта на бульвар Вобана
Трамваи медленно скользят.
Здесь за три франка постоянно
Красотки, помню, шли подряд.
Но где ж они? Все так же ль рьяно
Они танцуют вальс у Блана,
Или на кладбище лежат?

Заключающиеся в этих очаровательных стихах намеки, пожалуй, останутся непонятны для того, кто никогда не бывал в «Кролике». Меня же они волнуют, напоминая то славное время, когда, несмотря на общую нашу нищету, я распевал у Фредэ марсельскую песенку:

От Ивовой улицы
До бульвара Вобана
Все миленькие курочки
Танцуют вальс у Блана,—

и, не унывая, выпутывался, как умел, из всяких затруднений.

Да, я прав, когда пишу: «Доржелес — поэт». Он был поэтом на свой лад. Щедрый и великодушный, бурный и порывистый, непоседливый, восторженный. Если бы он и пытался это скрыть или оспаривать, вся его жизнь, его характер и вкусы изобличают его. Он обожал красные жилеты, любил кабачки, где мы бывали, преклонялся перед случаем и великими людьми и, хоть и носился тогда с тысячью идей, по меньшей мере нелепых, — его истинная натура, как вспышки молнии, прорывалась очень часто во всем. Что из того, если его «писания» тогда еще предназначались лишь для газет? Ему стоило после войны отнести одно из них в другое место — и мы получили книгу, которая называется «Деревянные кресты» и которой нет равной.

Я бы хотел его показать таким, каким он был, стремительным, полным юношеского трепета и пыла. Он мне вспоминается в ярко-красной рубашке и брюках из грубой парусины, в которых он расхаживал в деревне, имея вид настоящего бандита. На него все указывали пальцами. Зарабатывая хорошо в журналах, он тратил столько, что это наводило на размышления. В одно воскресенье, когда мы с Варно и Марком Брезиль навестили его в окрестностях Парижа и все вчетвером отправились пешком из Фуркё в Сен-Жермен, чтобы сесть на поезд, идущий в город, один из нас предложил зайти куда-нибудь выпить стаканчик на прощанье. Было уже поздно, все было заперто; мы зашли в какое-то довольно подозрительное заведение. Хозяин его уже тоже готовился запирать и не хотел подать нам вина. Наши препирательства привлекли полицейских. Восхитительный вечер! Красная рубашка Ролана придала скандалу осо-

бый колорит и сделала этот вечер памятным. Десять минут спустя мы оказались в участке и вынуждены были провести там ночь. А в городе потом ходили рассказы о захваченной полицией шайке бандитов, атаман которой «был одет весь в красное и имел при себе огромную сумму денег, которую, видно, не успел поделить со своими соумышленниками».

Варно, который как раз в то время обручился, пропустил назначенный на следующее утро парадный завтрак, так как арестовавшие нас господа не выпустили нас, пока не собрали всех сведений; да и тогда отпустили очень неохотно.

Я столкнулся с Варно впервые у одной из его подружек, которую звали мадмуазель Рарà и которая имела такую крошечную ножку, что она умещалась в пивной кружке. Мы с любезным Андрэ Варно в ту пору так удивительно походили друг на друга, что, пока он отбывал военную службу, Рарà не расставалась со мной, находя, что я даю ей полную иллюзию, и уверяя, что она серьезно ко мне привязалась. Мое сходство с «папашей Дэдэ» помогало соблюдать все требования благопристойности до тех пор, пока Варно не возвратился на Монмартр и Рарà, представив нас друг другу, положила начало нашей крепкой дружбе.

Блаженные времена, праздные, безмятежные дни и вечера, когда мы сходились все у милейшего Фреда! И когда

Даже горести были источником упоения.

Мы переносили эти горести легко, бодро, не заботясь о завтрашнем дне, не тревожась ни о чем, потому что каждый из нас, кого судьба выдвигала, всегда откликался на призыв и не забывал товарищей. Были там: Асселен, Жирье, Марио Менье, Альфред Ломбар, Варно, Брезиль, Доржелес, Мак-Орлан, Газанион, Макс Жакоб, Маноло, Пренсэ, Дюрио, Шас Лаборд, Утрильо, Кутэ, Пикассо, Вайан, Оллен, Лавессьер, Мария Лоренсен, Фальке, Жюльен Калле, Марку, Дараньес, Пишо, Жан Пеллерен, Баннеро...

Мы хотели только жить — и больше ничего. Наиболее бедные ютились у товарищей и платили им песнями. Мы не расставались друг с другом. Мы всегда были в полном составе; и это воспоминание о тех, кто никогда больше не вернется, не сядет за длинный стол в «Кролике», внушило мне следующие стихи, в которых витают дорогие их тени:

По кафе и по барам — вас
Я искал, друзья, как бывало.
Ах, когда бы опять настало
Время юности и проказ!
Я искал вас в себе незримых,
Как пропавший ищет любимых
И зовет к себе, притаясь.

Всего больнее — утрата Жана Пеллерен, которого я когда-то привел на Монмартр и который был вернейшим и нежнейшим из друзей. Я как сейчас вижу его темную фетровую шляпу, продолговатое лицо, искренний и горячий взгляд. Жана любили все. Он пришел в нашу компанию последним, и его стихи, поражавшие нас своей музыкальностью, вызывали к нему уважение и расположение. Мы твердили эти стихи часто, когда его не бывало с нами, как твердим их и сейчас. Увы, с той разницей, что тогда отсутствие Жана Пеллерена среди нас длилось ночь или две, а теперь — мы знаем, что не увидим его больше никогда во все те дни и ночи, которые нам еще остается прожить.

VI

Да позволено мне будет теперь поговорить об одном странном субъекте, которого встречали у Фредэ и которого я подозреваю в том, что он из чистейшего коварства способствовал зарождению приключенческого романа, такого, какие писал потом и Мак-Орлан. Это был человек хладнокровный и вежливый, знакомый Асселена; занимался он живописью. Его считали капитаном дальнего плавания. Он появлялся в «Кролике» через неопределенные промежутки времени и, притворяясь, будто объехал за это время весь свет, принимался тотчас же охлаждать наш энтузиазм.

— На Таити, — утверждал он, когда кто-либо из нас восторгался Гогеном, — постоянно идет дождь. Женщины одеваются в клеенку.

Мы не смели спорить с ним. Он делал свои заявления таким убежденным тоном, что мы в конце концов начинали ему верить. Видно было, что он знает, что́ говорит. Ведь он там был! И когда Макс Жакоб, чтобы его обескуражить, замечал: «В Швейцарии на каждой горной вершине поставлен будильник», — он отвечал спокойно и вежливо:

— Возможно, возможно.

— А в Голландии,— вмешивался Мак-Орлан,— знаете, до чего доходит опрятность? В некоторых городах, уверяю вас, нередко можно увидеть выходящих из каждой кофейни курильщиков, отправляющихся за город выколотить свою трубку, чтобы не пачкать улиц.

— Возможно. Отчего бы и нет?

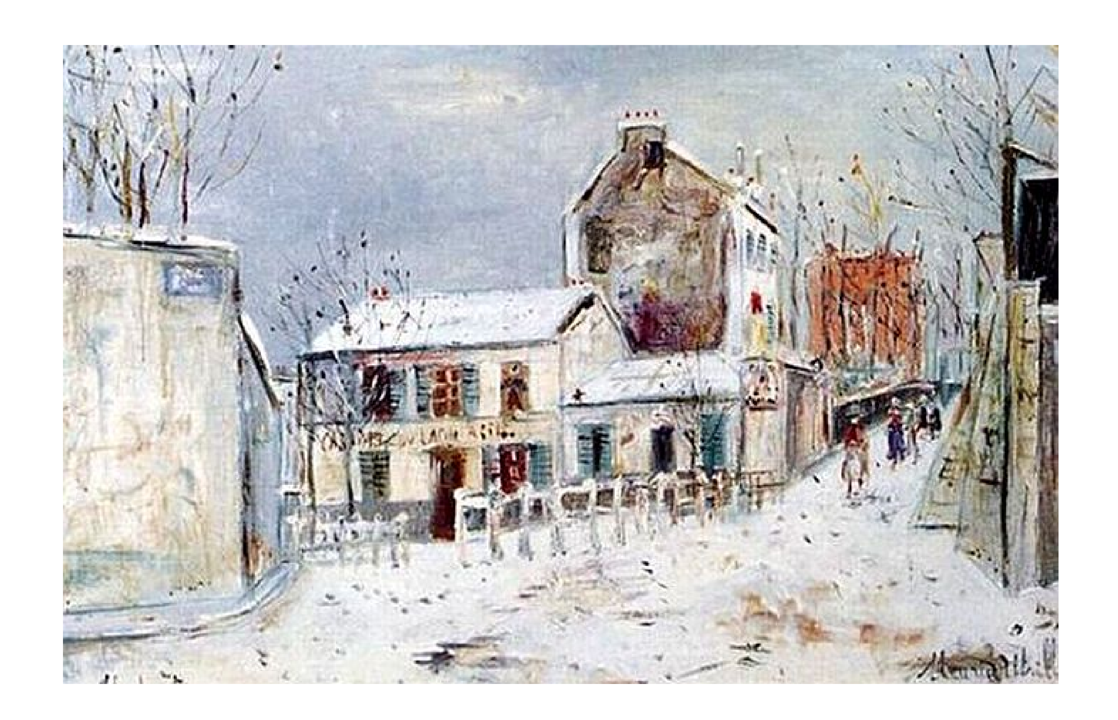
Это «отчего бы и нет?» нас положительно ошеломляло: столько было в нем флегмы, несносного равнодушия, таким тоном превосходства оно произносилось.

Но, в самом деле, отчего нет? Этот человек был прав. С той минуты, как оказывались мифом прелестные, похожие на цветы, таитянские девушки Гогена, — все становилось возможным. Достаточно было соблюдать известные границы, а в этих границах дать

волю фантазии. Кабачок отца Фредэ, с его низким потолком и постоянным гулом, опьянявшим нас порою не хуже вина, в те часы, когда уже начинаешь пошатываться и болтать вздор, преображался в пьяный корабль, на котором мы неслись без руля и компаса. Иногда иллюзия была полная. И весь экипаж пел:

Нас было двое, нас было трое —
Три моряка из Груа.
Ветер крепчал!

Да, ветер действительно крепчал! Но веселая компания, взгромоздясь на столы, не страшилась никакой бури. Напротив! Они отлично держались, и никакие невзгоды и тяжелые времена не сломили их.



Морис Утрилло. *«Проворный кролик» зимой*

Не открыл ли Жорж Делав чуть ли не у самых дверей «Кролика», на маленьком Сен-Венсенском кладбище, могилу адмирала Бугенвилля? Меланхолическая страница, которую он посвятил этой могиле, нас окончательно убедила в ее подлинности. А когда художник Жирье зафрахтовывал для нас на ближайшем углу с полдюжины фиакров, чтобы произвести высадку в разные злачные места Парижа, мы все готовы были поклясться, что корабль наш кинул якорь в порту и что мы получили позволение сойти на берег.

Человек, открывший нам тайны Таити и ничему никогда не удивлявшийся, приглашал нас иногда к себе. Он жил на улице Ламарк в

пустой квартире, где, за неимением стульев, все мы усаживались прямо на полу, в то время как бутылка переходила из рук в руки. Мебель и убранство комнаты состояли из плоского корабельного сундука, секстанта, подзорной трубы, мольберта и кучи картин в углу. Впрочем имелись еще гамак и походная аптечка, а на стенах развешано было какое-то старое матросское тряпье. Начинались странные и чудесные рассказы, которыми этот человек набивал нам голову, оставаясь все время на ногах, шагая среди нас, сидевших на полу, словно капитан на своем мостике.

Чем более его рассказы переходили границы здравого смысла, тем более мы были склонны верить им. Но в один прекрасный день он исчез со всем своим имуществом, и мы узнали, что он, хотя может быть некогда и путешествовал, но уже много лет проживает на своей ферме в Турени, что он — не более, как обыкновенный богатый фермер, имеющий невинную манию считать себя настоящим мореплавателем, за какового и мы его принимали.

Как бы там ни было, а толчок был дан! Тяготение к морю, знакомая всем любовь к неизведанному с новой силой овладели нами, мешали взять себя в руки, томили невыразимо. Бретань, где некоторые из нас рисовали летом, Бриньо, Понт-Авен представлялись нам землей обетованной. Асселен, Вайан, Мак-Орлан привезли оттуда такие яркие впечатления, что мы стали просто бредить Бретанью, клясться ею; закупали модели судов, наряжались в морские костюмы из грубого полотна, пристрастились к приключениям пиратов.

Один из нас, Жак Вайан, казавшийся самым решительным из всей банды, покинул в конце концов Монмартр, поселился в Бриньо у матушки Барон и жил вольной птицей, ровно ничего не делая. Он был веселый малый, любитель выпить, а еще больший любитель всяких приключений... Он покинул свой приют в Бриньо только в августе 1914 г., чтобы вступить в действующую армию и уйти из пределов Франции. С войны он вернулся в чине младшего лейтенанта и с запасом замечательных наблюдений.

Я вспоминаю, как во время войны, очутившись в отпуску в Париже, мы встретились с ним на Монмартре. Мы пообедали вместе; новости, доходившие с фронта, были неутешительны. Вайан, которому их сообщил какой-то товарищ, торопливо ушел с видом печальным и озабоченным. Он пошел переодеться в военный мундир, потом затащил нас к себе в отель, где мы провели ночь за вином, в танцах, несмотря на военное положение и грохотавшие пушки. Утром Вайан просто, без всякой рисовки, пожал нам руки, взвалил свой багаж на проезжавший мимо таксомотор и, — хотя он имел право пробыть в Париже, вдали от передовых позиций, еще пять дней, — присоединился к своему полку, который был впоследствии весь истреблен. Уходя, он крикнул:

— Я вернусь!

Авантюра для людей этого типа — не пустое слово, и это обнаруживается именно в подобных обстоятельствах. Герои Пьера Мак-Орлана похожи на них; та же веселая манера, та же свободная уверенность и, — что бы там ни говорили, — человеческая искренность, всегда проступающая в их мужественной решительности. У Мак-Орлана есть энергия, которая не обманывает, есть черты в характере, объясняющие его произведения. Во времена тяжких невзгод и испытаний, во времена нужды, которую он скрывал от всех, он не вздыхал и не жаловался. Целую зиму, не говоря никому ни слова, он спал на груде журналов и газет, потому что в его каморке ничего больше не оставалось: мебель и все остальное были проданы. Так в голоде и холоде он мужественно прожил немало времени. Не есть ли это черта, заслуживающая упоминания? Я без церемонии рассказываю это для того, чтобы те, кто мало знает Пьера, не могли бы теперь, когда он живет в достатке в своей скромной квартире на улице Ранела, увидеть в нем буржуа.

В его квартире, среди книг, картин, музыкальных инструментов, гости, иногда сногсшибательные, встречаются с его старыми друзьями. В числе этих гостей имеется, например, солдат иностранного легиона, и, когда он открывает дверь, его присутствие среди мирной обстановки ученого сразу освещает все каким-то новым светом. Это похоже на откровение. За десертом Мак-Орлан заводит свой фонограф или, когда в нас просыпается общая нам старая любовь к гульбе и бражничеству со всеми их земными прелестями, он садится за аккордеон, и пальцы его, бегая по перламутровым клавишам, извлекают быстрый и плавный мотив «явайского» танца. Охотничий рожок, которым он некогда невыразимо раздражал соседей, больше не пускается в ход, когда Пьер в Париже. Кому хочется познакомиться с игрой Мак-Орлана на охотничьем рожке, тот должен сесть в поезд и отправиться в Сен-Сир-на-Морене.

* *
*

Эта деревня, сонное оцепенение которой было нарушено со времени битвы на Марне, имеет для нас свою историю. Для завсегдатаев «Кролика» «Сен-Сир» стал синонимом оппозиции «любителей суши» против тяготения к Бретани и, вместе с тем, местом ежегодного съезда литераторов и художников, которым надоело тщетно искать корсаров в Бриньо и которые предпочитали либо отказаться раз навсегда от этих поисков, либо перенести их в другие места.

Фредэ имел в Сен-Сире домик, где он иногда проводил самые жаркие месяцы. Верхом на своем осле — знаменитом со времени выходки Доржелеса — он гарцовал по полям, нахлобучив на голову остроконечную шапку; собаки и бараны окружали его. Сообщал ли

он кому-нибудь свой адрес, я не знаю. Но приблизительно с 1911 года на Монмартре заговорили о Сен-Сире. Жюльен Калле, — к которому я еще вернусь в этой главе, потому что о нем стоит поговорить, — Жорж Делав, Маркусси, Зиг Брюннер первые произвели переворот в умах обитателей этого угла и приучили их ничему не удивляться. Они выстрелами из карабинов сбивали фрукты в садах и по ночам спускали в местную речку коллекцию копченых селедок, зашив во внутренность каждой из них по живой рыбе, которая должна была исполнять роль двигателя; отправлялись купаться голышом на велосипедах, а, когда проезжая труппа давала спектакль, выдавали себя за актеров и вносили в представление невероятную путаницу. Я сам вместе с Зигом Брюннер и Жоржем Делав выступал в «Бесстыдном Рожере» в какой-то непередаваемой роли. Однажды я накрыл местного сельского стражника, когда он сквозь ветви орешника наблюдал купающихся парижан в компании их юных натурщиц. Когда я осведомился у этого славного малого, почему



Зиг Брюннер. *Белые птицы*

он не привлекает нас к ответственности за нарушение закона, он отвечал:

— Ну, как же! Если я закачу им протокол, они больше сюда не приедут!

Жители этого прелестного местечка были так же умны и дальновидны, как их сельский стражник: они не мешали парижанам дурить, сколько вздумается, чтобы иметь возможность обирать их вовсю, посмеяться на их счет и иметь о чем порассказать в долгие зимние вечера. Некоторые из нас жили в гостинице; кто расплачивался за номер, не знаю. Были там Газанион, Жирье, Коксинель, который чудесно пел, Совайр. Другие все снимали домики за церковью или, как например Мак-Орлан, в ближнем поселке.

В этой прекрасной провинции жилось приятно, покойно, все сулило освежающий отдых. Но мы не знали, что придумать, чтобы истратить избыток энергии, дурили напропалую и не засиживались на одном месте. Один только Мак-Орлан поселился здесь надолго и охотился со своей собакой Фрикетт, стреляя куропаток.

С ним однажды произошел случай, так поразивший крестьян, что они, верно, до сих пор еще не перестали говорить о нем. Мак-Орлан всегда очень внимательно высматривал во время охоты каких-нибудь неизвестных ему или странных птиц. Как-то раз он убил птицу и остановился в недоумении. Что это могла быть за птица? Никогда он не видывал такой. Длинный клюв, какой-то смешной вид, лапы с перепонками, дымчато-серое оперение. Пьер смотрел, думал, потом сунул ее в свою сумку и вечером показал соседу. Тот тоже затруднился определить, что это за птица. Он даже ходил в местечко спрашивать, не знает ли кто. Оказалось, никто не знает.

— Вот смешная тварь! — говорили люди.

Искали в книгах и справочниках — всё безуспешно. Мак-Орлан, сильно заинтересованный, поехал со своей находкой в Париж. И в Париже никогда не видали такой странной и крупной птицы. После длительных совещаний с чучельных дел мастерами Пьер, воротясь в Сен-Сир, объявил, чтобы успокоить общее волнение, что убитая им птица принадлежит к одному из редких видов голенастых гаршнепов.

Это птичье название создало особую репутацию Мак-Орлану, и сен-сирские жители даже готовы были заподозрить его в колдовстве. Спас положение Жюльен Калле, который перещеголял Пьера и дал богатую пищу для злословия жителям Сен-Сира. Он служил делопроизводителем где-то в Эльзасе и каждый год приезжал в Париж, чтобы присутствовать на балу «четырех искусств». Благодаря его стараниям открылся трактир под придуманным им же названием «Гостиница крутого яйца и коммерции».

Специально выпущенные анонсы гласили:

О-во подозрительных больших отелей.

English spoken. Se habla espanol.
Man spricht nicht deutsch. Si parla italiano.

«Гостиница крутого яйца и коммерции» Жюльена Калле. Главное отделение в Сен-Сире на Морене (Сена и Марна).

Полтора часа до Восточного вокзала. 40 дней езды на верблюдах до Алжира.

Основана Наполеоном в 1814 г. Признана общественно-полезной в 1918. Удостоена похвальных отзывов в 1919 г. от муниципалитета Сен-Сира на Морене; от местных о-в; от Центральной ассоциации студентов; от вольной коммуны Монмартра; от журнала «Mercure de France»; от циклокубистического музыкального кружка при «Эколь де-Боз'Ар»; от О-ва сыпучих газов; от Парусного пароходства и т. д.

Цены весьма умеренные.
Скидка на время купального сезона.
Общий стол — общее сердце — 18 котлов.

Это объявление достаточно рекомендует «Гостиницу крутого яйца». Но самое удивительное то, что она процветает и поныне, имея прекрасную репутацию и солидных клиентов. Калле отлично зарабатывает. Этот джентльмен всегда отличался организаторским талантом. В былые времена он в своей маленькой квартирке на улице Мон-Сени, выходившей во двор известного всем «дома работницы Женни»[5], принимал своих друзей, задавал пиры, длившиеся по нескольку дней. Закрывали ставни, окна завешивали мешками, зажигали все лампы, клали на пол зеркальный шкаф, долженствовавший изображать стойку бара. И пили вовсю! Там я раз целую ночь наблюдал, как пьет Пьер Мак-Орлан. Сидя верхом на спинке стула, он опустошал бутылку за бутылкой, ни мало не пьянея и держась все так же уверенно. Кто не выдерживал, отправлялся спать на вышку в особую комнату; или их осторожно укладывали тут же под стол или диван, чтобы они не мешали другим веселиться. Иногда участие в этих увеселениях принимали и Дюнуайе де-Сегонзак и веселый «папаша Дэдэ», который на другой день расписывал в газете «Комедия» небывалые блеск и пышность этих собраний. Неоднократно приводил я с собой туда и поэта Эдуарда Газаниона, у которого жил в те времена. Но окончилось это для него весьма драматически: однажды на рассвете, когда мы воротились домой, Эдуард, раздеваясь, сделал печальное открытие и, забыв о спасительной осторожности, разбудил спавшую жену следующим воскли-цанием:

— Ах, какая досада! Представь... Я потерял подтяжки!

О, зачем он не догадался взять мои!

---

[5] «Дом работницы Женни» – благотворительное общежитие для работниц в Париже.

Тогда, когда я его знал, Калле еще совсем не думал об избранной им впоследствии деятельности и скорее отдавался на волю случая. Впрочем, еще и сейчас мы читаем иногда в газетах его рассказы. Мог ли он рассчитывать на успех литератора? Возможно. В ту пору никто из нас не знал, что готовит ему будущее. Что касается меня, например, то, если бы не внимание и поддержка Шарля-Луи Гирша, который меня убедил покинуть Монмартр и несколько упорядочить свою жизнь, — я с таким же успехом, как и Калле, мог оказаться в конце концов хозяином кабачка или чем-либо в этом роде и, может быть, не имел бы оснований жалеть об этом. Жизнь имеет свои цели и пути, нам непонятные. Она нами распоряжается по своему усмотрению, и, если бы, например, я не последовал доброму совету относительно методов работы, данному мне однажды Метерлинком, я, быть может, никогда не написал бы ничего, кроме тех стишков, какие сочинял в веселые годы жизни на Монмартре:

Побереги свое нутро,
Сядь в омнибус, беги метро!

— Уединяйтесь на три часа ежедневно, — внушал мне Метерлинк, — и даже, если работа не клеится, не выходите до назначенного вами часа из комнаты.

Прекрасный метод! Но, когда, в те времена, я пытался применить его на практике, я тотчас засыпал, потому что днем после бессонных ночей все мы буквально падали с ног от усталости. Когда закрылся «Кролик», мы перенесли свои ночные бдения к Маньеру, на улицу Коленкур и в мало посещаемые кабачки на улице Лепик, где проводили время в неподобающем обществе. Именно в одном из таких мест я встретил «Jésus la Caille»[6] и его приятелей, а в конце Тулузской улицы открыл ту самую хлебопекарню, которая мне дала впоследствии сюжет книги «Человек, которого преследуют».

Пока рассвет не начинал белеть за окнами, мы беседовали, о чем придется, — о поэзии, о происшествиях, о романе приключений, о кубизме... Все давало нам пищу для споров и размышлений. Тогда мы еще были наивны и не отдавали себе отчета в том, что кубизму, который принадлежал к числу еврейских измышлений, предстояло обогатить нас не столько в области изобразительной, сколько в смысле интеллектуальном, или, — другими словами, — способствовать не столько торжеству искусства, сколько известному оживлению в области идей и теорий, в котором, собственно, искусство отступало на второй план.

Кто-то из нашей компании, —не помню уже сейчас, кто, — заметил раз по этому поводу:

— Кубизм — это чек по сравнению с наличными деньгами.

---

[6] «Jésus la Caille» – заглавие первого романа Карко, создавшего его автору литературное имя.

— Да, — отвечали ему, — но чек без наличности в банке.

Это довольно остроумно сказано. Да и как можно было серьезно, без насмешки, принимать нелепые и иногда претенциозные формулы этой новой школы, если, к примеру, Пикассо, изобразив на картине выгрузку ящиков на набережной Сены, назвал этот этюд: «Портрет моего отца»? На ящиках красовались объяснительные надписи: «Оберегать от сырости», «Верх», «Низ». Кроме этих этикеток были номера.

— А что, если бы в один прекрасный день твой старик явился в Париж и увидел эту штуку? А? — спросил у Пикассо, кажется, Пренсэ или Макс Жакоб.

Однако насмешки не помешали целому ряду художников выставить на следующей выставке в салоне «Независимых» множество «портретов отцов» с такими же надписями и номерами, как у Пикассо; вдобавок там и сям на этих «портретах» попадались вразброску или глаза, или нос, или зубы, или кусочек уха.

VII

Между тем на самом верху улицы Равиньян, в уютном кабачке «Друг Эмиль», где, как и во всех кабачках Монмартра, очень ценилась живопись, Маркусси начал расписывать стены задней комнаты, где мы все собирались. Он выполнил эту работу с большим вкусом, и она всем нам очень понравилась. Рассказывают, что однажды сам Утрильо, прослышав о ней, пришел к Эмилю посмотреть ее, просидел молча целый вечер, потом сосчитал кубы и ушел.

Улица Равиньян была колыбелью кубизма: он зародился в двух шагах от «Друга Эмиля», на площади «Эмиль Гудо». Там в № 13 жили Пикассо, Макс Жакоб, Сальмон в каком-то деревянном сооружении, похожем на плавучую прачечную и существующем еще до сих пор. Окна студий выходили на площадь, к ним примыкали какие-то пустующие пристройки, открывавшиеся в длинный коридор. В том доме царила атмосфера черной нищеты, заброшенности, суровых лишений. Но, несмотря на это, именно здесь почитатели таможенного чиновника Руссо чествовали его, причем, по причине до сих пор еще невыясненной, заказанный в ресторане обед прибыл только на следующий день после чествования. Площадь «Эмиль Гудо» представляет собой узкий треугольник, очень круто спускающийся вниз. Гордость площади — знаменитое строение, о котором мы сейчас говорили, да еще отель дю-Пуарье, где я нашел Ла Вэссьера. Мы с ним когда-то оба преподавали в Аженском лицее и оба были выставлены вон за слишком громкое поведение. Нас связывала крепкая дружба. В тот вечер, когда я снова встретился с виконтом



Луи Маркусси. *Натюрморт с шахматной доской*

Робертом де-Ла Вэссьер, помещавшим в маленьких журналах очаровательные стихотворения в прозе, подписанные псевдонимом «Клодьен», — он был занят тем, что неистово колотил палкой хозяина гостиницы, сопровождая эти удары, по своей привычке, резкими восклицаниями. Я прекратил избиение и осведомился о причинах ссоры. Оказалось, хозяин вызвал гнев поэта, упрекая его в том, что он каждую ночь приводит к себе бесчисленное множество молодых особ женского пола. Дело кое-как уладилось, и с этого вечера я имел на Монмартре еще одного друга, очень ценного. Кто не знавал «Клодьена», не может составить себе правильного представления об этой личности. Его рыжая борода, его трость, его костюмы — все имело в себе что-то своеобразное. У него была внушительная наружность, манеры, полные достоинства, важности, апломб, доходящий до наглости. В те времена он был так же нищ, как

и мы, но мы всегда с изумлением замечали, что в его нищете не было ничего банального. Он носил костюмы одного из своих старых друзей, которые были ему всегда не впору и придавали ему странный вид. Но Клодьена это мало беспокоило, он первый хохотал над своими превращениями. Один бог знает, чем жил тогда автор «Лабиринтов». У него было столько же адресов, сколько чужих костюмов, и все эти квартиры так же мало были его квартирами, как костюмы, в которых он щеголял. То он принимал меня в мансарде, словно созданной, чтобы укрывать в своих стенах трогательнейшую идиллию, то — в пустующей квартире, то — в грязном номере подозрительной гостиницы, то — у поэта Газаниона, который приютил и меня. Но повсюду он оставался все тем же: человеком, умеющим и слушать и говорить, олимпийски спокойным, большим любителем безмятежного ничегонеделания. На улице, среди суетливых и озабоченных прохожих, он шествовал медленно, покуривая иногда толстую сигару; или усаживался в кафе и, вынув из кармана флакончик с эфиром, спокойно и без всякого стеснения выливал его содержимое в свой стакан. «Кирш с эфиром» был его любимым питьем. Он, бывало, расхваливал его мне еще в Ажене, в маленьких кафе, где остальные посетители поспешно отодвигались от нас, затыкая нос. Его редкие и изысканные вкусы, его обширные знания, его блиставший остроумием и оригинальностью разговор делали Клодьена неотразимо привлекательным. Кроме того, под его внешним высокомерием и заносчивостью скрывалась душа деликатная и способная на верную дружбу. Сколько ночей мы провели вместе, бродя по глухим кварталам Парижа! Он смело входил в самые подозрительные вертепы, пробирался меж пьяных и проституток и, облокотясь о прилавок, командовал: «Анисовой, покрепче!»

Однажды у канала Сен-Мартэн мы подверглись нападению, что нас ничуть не удивило. Клодьен, не дожидаясь, пока грабитель обшарит его карманы, спокойно вынул монету с видом человека, подающего милостыню.

— Вот, — сказал он, — сорок су.

А в ту же ночь, когда он расплачивался в баре, я заметил в его бумажнике три стофранковых билета.

За что бы он ни брался, его высокомерные манеры оказывали ему плохую услугу; неудачам и комическим случаям не было числа.

Как-то вечером, когда он обедал и болтал за столиком в «Доброй кружке», до него долетело нелестное замечание, громко произнесенное кем-то из посетителей этого тихого ресторанчика по его адресу.

Ла Вэссьер поднялся, вставил свой монокль, затем с небрежным видом направился к столу, где, как он полагал, позволили себе над ним насмехаться. Но, будучи крайне близорук, он ошибся и влепил пару пощечин господину, ни в чем не повинному. Господин ока-

зался учителем фехтования. Дуэль была неизбежна. Ла Вэссьер стал готовиться к ней, и понадобились влияние и дипломатия Марка Брезил, чтобы помешать этой дуэли.

В другой раз, на площади Сен-Жорж, Ла Вэссьер, возвращавшийся домой, чтобы лечь спать, был неприятно поражен огромными позолоченными буквами вывески какого-то антиквара. Он остановился, медленно прочитал фамилию этого еврея — очень известного, потом, подстрекаемый бесом, взобрался на какую-то решетку, сорвал огромное «В» с вывески и спрятал его под мышку.

Таких «В» он накопил у себя несколько. Каждый раз антиквар вставлял новую букву, а Ла Вэссьер ее похищал. В конце концов антиквар подал жалобу, и полицейские агенты раскрыли тайну удивительного исчезновения буквы, схватили преступника, повели в участок, где от него потребовали объяснения. Фантазия Клодиена подсказывала ему выходки, вовлекала его в истории самого причудливого свойства. Но он смело нес последствия их, сохраняя несокрушимое спокойствие.

В то время, когда он был классным наставником в Аженском лицее (к величайшему отчаянию директора), наши комнаты в лицее очень плохо освещались по вечерам. Ла Вэссьер, не смущаясь, на глазах у всех снимал с уличных фонарей масляные лампы и важно шествовал в лицей с лампой в руках. Летом он совершенно голый усаживался на камине в своей комнате, заявляя, что на мраморе прохладнее.

Никто не мог с ним сравняться в шутках всякого рода; он проделывал все, что ему приходило в голову, и, увлекаясь чем-нибудь, умел увлечь этим кого угодно. Он любил ночной Париж и шатался по ночам от Бельвиля до Вожирара, от Бастилии к бастионам Отейля, не зная устали и часами рассуждая со мною о поэзии. Тайный интерес к порокам и мерзости большого города толкал его в те места, где все кипело, бродило, волновалось, теснилось в ужаснейшей нищете, где люди были отданы на съедение своим порокам. И его близкое знакомство со средой, куда очень трудно проникнуть, диктовало ему потом короткие поэмы, полные острой и мучительной скорби.

Где бы он ни обретался, он не терял меня из виду. Он мне писал или, — если мы, бывало, уговоримся встретиться вечером и я не приду, — он вышибал стекло в окошке пожарного автомата, сообщал по телефону мой адрес — и пожарные с насосами атаковали дом, где я жил, напоминая мне таким оригинальным способом о назначенном свидании. Таковы были упрощенные приемы Ла Вэссьера. В этом человеке не было ни малейшей суетности, ни малейшего тщеславия. Всегда — корректный, бесстрастный, владеющий собою. Его переезды с квартиры на квартиру свершались всегда под покровом темноты. И, когда он мне сообщал новый адрес, я его за-

носил на специально для этого отведенную страницу моей записной книжки, всю сплошь исписанную его прежними адресами.

Я думаю, не было дома на Монмартре, где бы он не был прописан. Единственным исключением являлся старый «отель дю-Тертр», где жили мы все. Может быть, это было слишком высоко для такого лентяя, а может быть — слишком там было шумно и людно для его замкнутой и беспокойной натуры. Виконт Робер де-Ла Вэссьер никогда не любил Монмартра. Жил он там когда-то, лишь подчиняясь обстоятельствам, и, как вы увидите дальше, ему нравилась совсем иная среда. В нашем «отеле де-Тертр» (Пьер Бенуа в первое же свое посещение сделал открытие, что названием этим дом обязан знаменитому капитану дю-Тертру, умершему в Африке. Подобным же образом Пьер объяснял название площади, а также и название кабачка «Труба Сиди Ибрагима», находившегося на той площади), — в нашем «отеле» некогда проживал Депаки. «Добряк Жюль», как его называли, был очень хорошо воспитан, очень скромен, очень ловок и хитер: он умел лучше всех нас устроиться так, чтобы пить даром в знаменитом кабачке «Труба Сиди Ибрагима», хозяином которого являлся тогда старый «папаша Шпильман». Депаки был проказлив как ребенок; его веселость немного раздражала, а возражения в споре бывали часто так лукавы и тонки, что сбивали с толку противников.

Однажды утром кто-то из его кредиторов стал барабанить в дверь, угрожая все перебить, если ему не заплатят. Депаки отвечал через дверь:

— Господин Депаки вышел.

— Я вас отлично узнаю, — кричал кредитор.— Я узнаю ваш голос... Откройте сейчас же!

Добряк Жюль послушался.

— Ну, что же? — сказал кредитор, входя. — Теперь видно, что вы лгали?

— Я не лгу, — возразил Депаки. — М-сье вышел ... вот уже больше часа тому назад.

— Ага! Вот как!

— Уверяю вас!

Кредитор казался наполовину убежденным. Но вдруг, опомнившись и указывая на стоявшие у двери башмаки своего должника, снова завопил:

— М-сье Депаки, зачем вы отпираетесь? Смотрите-ка!.. Ваши башмаки еще здесь, как же вы говорите, что Депаки вышел?

Тогда Жюль вытолкал кредитора и, запирая дверь, заявил:

— По утрам я выхожу только в туфлях.

VIII

О Депаки ходили сотни всяких рассказов. Он был человек аккуратный, хилый, незначительной наружности, во внешнем виде которого не было ничего вызывающего, но человек такой рассеянный, что с ним постоянно случались разные казусы. Его большой нос, над которым он первый всегда готов был посмеяться, рисуя на себя карикатуры, его глаза, круглые, с каким-то отупелым, словно испуганным, взглядом, придавали Жюлю сходство с ночными птица-



Жюль Депаки. *Рисунок*

ми, которых дневной свет ослепляет и лишает возможности двигаться. Сходство еще усиливалось тем, что Жюль на улице всегда боязливо жался к стенам. В кабачок он входил так, словно его кто-

то снаружи втолкнул, и физиономия его выражала испуг, беспокойство, недоверие. В «Кролике» он любил сидеть не в большой зале, а в глубине узкой комнатки у огня, и, чтобы его разыскать там, надо было отодвигать стулья, столы, разную утварь, вешалки, тысячу вещей, за которыми он чувствовал себя в безопасности от любопытных глаз. Он любил забираться в темные углы, и, когда о нем совсем уже забывали, вдруг слышался его голос: он говорил сам с собой или декламировал стихи. О, этот голос Депаки! Резкий, то слишком высокий, то слишком низкий, он до сих пор звучит у меня в ушах. Этот голос напоминал скрип флюгера на крышах зимою в провинции. Жюль сам это хорошо знал. Если он и был поэтом, то пел он лишь о мелочных жизненных неудачах, о своих горестях маленького человека, о разочарованиях непонятных или смешных, о бесплодных порывах. Я сказал, что иногда во время наших шумных ночных сборищ мы слышали из угла голос Жюля. «Слышали» — это не совсем точно; мы скорее «ощущали», чем «слышали» голос Жюля, похожий на скрипучий стон, когда он в уголку вдруг начинал пренелепо декламировать свои вирши.

Его все принимали таким, какой он есть молчаливым, сонным, а когда выпьет — насмешливым и разочарованным. Странный был парень! Все его любили за детскую проказливость, за здравый смысл, за юмор, за его тонкое и забавное остроумие. Не он ли сам придумал для своих стихов тот заголовок, который мы считали очень подходящим? Его спросили:

— А как назовешь ты сборник своих стихов?

— «Потерянные мгновения», — отвечал он.

И добавил:

— Действительно потерянные: ни один издатель не берет!

Однако эти стихи, которые он читал одному-двум из своих друзей, начинали приобретать известность на Монмартре. Цитировали отдельные строки. Депаки это очень сердило, и, если кто-нибудь в его присутствии начинал их декламировать, он вставал и уходил раздраженный. Внешне мягкий и хитрый, он был очень раздражителен и умел смутить любого человека. Но надо было его знать и уметь к нему подойти — тогда не было человека приятнее и веселее его.

Без всяких сознательных усилий он — по всеобщему признанию — писал великолепнейшим александрийским стихом, гибким, богатым эффектами и оттенками, полным вкуса и сочности. Иногда мы хитростью заставляли Депаки читать стихи и могли наслаждаться красотами размера и ритма. Ради них мы терпеливо выслушивали глупейшие трагедии Жюля, нелепый набор слов, в котором тонула прелесть стиха. Помню какую-то трагедию, где речь шла о короле, который отправился в крестовый поход и которого королева обманывала с его племянником Гонтраном, нимало не заботясь о своей репутации. Сцены следовали за сценами, строки за строками, ката-

строфы за катастрофами. Жюль читал и читал. Наконец, в третьем акте возвращался король. Он спешил к своей обожаемой супруге, чтобы прижать ее к сердцу, — и вдруг, застав ее в объятиях Гонтрана — отступал в смятении. Автор только и ожидал этого момента: он наглядно представлял нам несчастного крестоносца, теребя свою эспаньолку, в отчаянии качая головой и, медленно отступая к стене, выкрикивал с видом оскорбленного достоинства:

— Каково! Каково! Каково!

И аудитория, конечно, выражала восхищение.

* *
*

Эти шутки не были злыми и вполне нас удовлетворяли, потому что мы были тогда так молоды, что все нас забавляло и веселило.

Больше всего нас заставлял смеяться Депаки. В его приключениях всегда было что-то просто ошеломляющее, и он их рассказывал, чтобы нас развлечь.

Как-то Альфонс Алле пригласил его к завтраку. Жюль (он мне это рассказывал не раз) нарядился в свой парадный, воскресный костюм, взял большой зонтик и отправился к юмористу. Депаки еще в то время совсем не был знаменит, и его дикая застенчивость причиняла ему постоянно тысячи неприятностей.

— Вы к кому? — крикнул ему швейцар.

— К господину Алле.

— Да, это здесь. Чего вам от него нужно?

— Мне нужно его видеть, — отвечал Жюль.

— Так ступайте со двора, по черной лестнице, — проворчал толстяк, который по-своему оценил нерешительные и нескладные манеры Жюля и его робкий вид. — Поняли?

Депаки повиновался. Он взобрался на лестницу, скромно постучал в дверь кухни, подождал, пока ему отперли, и, назвав себя, вошел.

— Подождите здесь, — сказала ему кухарка.— Я пойду доложу хозяину. Но, между нами говоря, вы пришли не вовремя, мой милый!

— Почему же?

— Потому что сегодня у хозяина парадный завтрак, он вас не примет.

— Ага! Вот как!

— Уверяю вас, — повторила кухарка. — Вот погодите — увидите.

Депаки присел в уголку и больше часа томился в ожидании. Он не решался попросить слуг доложить о нем, так как все они были в нервном состоянии по поводу опоздания гостя, которого ожидали к завтраку. Жюль с раскаянием и страхом внимал их выражениям

негодования на гостя, «подложившего им свинью». Наконец приказано было подавать. Бедный Жюль, не смея шевельнуться, смотрел, как мимо его носа проносили аппетитные блюда, и, скрепя сердце, улыбался. Только что он было набрался духу и приосанился, как увидел, что кухарка, садясь за стол, знаком приглашает его сделать то же самое. Депаки, конечно, не замедлил принять приглашение. Он ел с большим аппетитом, пил, затем закурил свою трубку, когда г-жа Алле, войдя зачем-то в кухню, спросила его с некоторой резкостью, кто он такой и что здесь делает.

— Я ожидал... — отвечал скромно Депаки. — Видите ли... я не хотел мешать...

* *
*

Вся его жизнь была рядом неудач и злоключений. Но, — удивительное дело! — вместо того, чтобы устать от них, он даже, что называется, вошел во вкус и рассматривал их с чувством коллекционера. Были ли эти невзгоды суждены ему свыше, или он как будто сам их накликал, возвращаясь к ним постоянно мыслью, — но их было столько, что не сосчитать. Депаки, однако, не менялся под их влиянием. Мы его встречали в «Кролике» или у «Мари, доброй хозяюшки»; он был все так же застенчив, неуверен, молчалив и бесцветен. Его седеющие волосы, его слишком широкое платье и этот вид лунатика, бродящего во сне, были созданы для того, чтобы вызывать насмешки проходящих. Рядом с ним Утрильо особенно резко бросался в глаза своими манерами. Депаки при нем уже не замечали. Он исчезал незаметно, и, — когда, бывало, кто-нибудь хватится его, — Жюля нигде нельзя было найти.

Между тем «м-сье Морис», испачканный красками, жестикулирующий, оборванный, производил большой эффект и шумел вовсю. Он появлялся на наших сборищах всякий раз, как ему удавалось улизнуть от своего квартирохозяина, и с его приходом все преображалось. В такие вечера мы видели, как Утрильо, очень бледный, мрачный, с поразительной быстротой вливает в себя литр за литром красное вино. Потом этот замечательный художник начинал свои выходки. Он, раскачиваясь, подходил к столикам, смерял нас взглядом и, схватив стакан или бутылку, убегал, испуская дикие крики; мы бросались за ним в погоню. Но тщетно! Утрильо спасался на улицу и потом возвращался, барабаня в окна до тех пор, пока ему не отпирали. Насколько наш приятель Жюль старался быть незаметным, настолько м-сье Морис стремился с упорством, достойным лучшего применения, внести беспорядок и шум всюду, где он появлялся.

Трактирщики — все они хорошо его знали — не упускали случая использовать Утрильо. Некоторые даже держали для этой цели трубочки с красками, карандаши, холст, кисти. Они старались его напоить, потому что за вид Монмартра, написанный Утрильо, можно было тогда получить с полсотни франков. В кабачке Мари, даже еще в первые годы войны, можно было увидеть лучшие из работ Утрильо. Развешанные друг подле друга без всякого порядка, они покрывали сверху донизу стены залы; никто не обращал на них внимания. Были там полотна и Сусанны Валадон, матери Мориса Утрильо (который в знак сыновней любви подписывался всегда «Утрильо В»), и Тире-Бонье, и Депаки. Все они платили по счетам своими рисунками. В этом гостеприимном заведении, называвшемся «Прекрасная Габриэль», и художники и не-художники чувствовали себя как дома. Кто не мог платить ни деньгами, ни рисунками, платил рассказом или песенкой. Мари была добрая женщина. У нее было место за столом для всякого художника или поэта, и она не очень пеклась о своих доходах.



Морис Утрилло. *«Прекрасная Габриэль»*

На улице Мон-Сени, в тупике, образуемом лестницами и узким проходом из улицы Сен-Венсен, заведение Мари было тогда уютным убежищем для нашей братии. Кормили там превосходно, Мари

сама готовила и выбирала вина. Эта женщина вполне заслуживала свое прозвище «добрая хозяюшка». Она была очень скромна на вид, но я склонен думать, что под ее простодушной ласковостью скрывалось много проницательности и здравого критического ума. В противном случае она не считала бы своего соседа, квартирохозяина Утрильо, «папашу Г.» — опасным конкурентом. Ведь тогда никто еще не подозревал, как будут цениться со временем работы Утрильо.



Морис Утрилло. *Монмартр*

Но, когда последний поселился у папаши Г., Мари почувствовала в этом угрозу своим интересам. И, боже, сколько достойных попасть в историю сцен произошло между м-сье Морисом, папашей Г. и живой, стремительной Мари! Сколько военных уловок! Но м-сье Г., получивший свое звание охранителя Утрильо по договору, был, конечно, стороной сильнейшей и избегал столкновений.

Этот толстяк со слащавыми манерами был не глуп. Не давая своему чудаковатому жильцу вести на Монмартре беспутную жизнь, оберегая его от пьянства, он забирал в уплату за эти услуги все, что писал Утрильо. У него я купил впервые некоторые картины Утрильо. М-сье Г. уступил их за сто франков и, чтобы спрыснуть сделку, предложил мне бесплатно стакан вина, так как он торговал вином, имея таким образом два ремесла. На высотах Монмартра всякий хозяин кабачка в большей или меньшей степени является и торговцем картинами. Эти два ремесла дополняют друг друга. И в конце концов мы, быть может, не имели бы талантливых, полных

силы творений Утрильо, если бы не эта темная личность — папаша Г., если б не его алкоголь, возбуждавший фантазию художника.

Возвратимся к Депаки. Он кротко выслушивал вздор, который мы мололи, пил, качал головой и, не высказывая своего мнения, держался всегда оборонительной позиции. Другие заботы его занимали: благодаря своей беспечности, он был всегда по уши в долгах, и каждое утро его осаждали кредиторы, которые, не понимая шуток, требовали денег и скандалили. Особенно приставал к нему представитель фирмы Дюфайэль[7]. И бедный Жюль неизменно заявлял ему, что, взявши на прокат мебель у м-сье Дюфайэля, он желает иметь дело только с главой фирмы и, если м-сье Дюфайэль самолично потрудится прийти, он ему уплатит все до копейки. Вероятно, эти утренние визиты и были причиной того, что Депаки так часто менял квартиру. Он кочевал, жил по нескольку дней то тут, то там, никогда не указывая своего адреса; как-то у Бускара он целую неделю пролежал в постели. Это было такой сенсацией, что мы все перебывали там, чтобы взглянуть на него.

— У меня лихорадка, — объяснял он со сконфуженным видом. — Я кашляю... и мне не по себе.

— Ну, не выдумывай! Вставай же, пойдем с нами.

Депаки почесал нос и, заметив, что мы не склонны ему верить, так как вид у него был цветущий, перешел к откровенному признанию:

— Неделю тому назад я получил деньги в редакции «Журнала» и хотел покутить.

— Это ты-то?!

— Ну, да.

— И вот, — продолжал Депаки, — я подцепил красотку... Мы обедали на бульварах... Пришли сюда и...

— Ну, и что же?

— И тогда... она ушла от меня утром ... да... и... и моих денег не стало! Я искал везде... ничего... ни одного су... просто смешно... и я дожидаюсь в постели... Бускара мне приносит еду... я работаю.

— А где лежали твои деньги? — спросил кто-то из нас.

— В кошельке.

— А кошелек?

— В кармане.

Мы решили, конечно, что беднягу Жюля обокрали, и поделились с ним этим печальным выводом. Как вдруг товарищ, задававший ему предыдущие вопросы, сказал:

— А где твои брюки? Ты посмотрел в карманах?

— О, — простонал Депаки, — мои брюки...

Тут его осенила какая-то мысль. Он вскочил с постели, поднял матрац и вдруг радостно воскликнул:

---

[7] Дюфайэль — крупнейшая мебельная фирма, имеющая более тысячи отделений по всей Франции.

— Вот они! Вот!.. И в кармане… нет, невозможно! Не может быть!..

— Кошелек?

— И деньги! — возвестил Депаки. — Каково! Нет, право, это слишком глупо… а я-то думал, что она меня обчистила до нитки! Ура! Вот счастье, что вы пришли! Если бы не вы, я бы тут пролежал до второго пришествия!

. . . .

Вместе с Жоржем Делав Депаки был в оппозиции к нашей страсти к приключениям и корсарам, столь любезным сердцу Мак-Орлана. Делав, убежденный, закоренелый любитель суши, ненавидел приключения. На улице Мон-Сени у него был свой домик, со старинной арденнской мебелью, громко тикающими стенными часами, с занавесками в розовую и голубую клетку. На стенах висели большие, в светлых тонах, картины темперой, на полочках — мно-



Жорж Делав.
Улочка Корто

жество трубок. Посиживая у огня, или в летние вечера наблюдая из открытого окна прохожих, Жорж Делав являл собою образец благоразумия. Он часто бывал в «Кролике», но его компания находилась в тайной вражде с нами. Стихотворения в прозе, которые писал этот талантливый человек, его рисунки, его изречения — все, вплоть до его собаки и подбитых гвоздями башмаков, отличало его от нас, и мы смотрели на него как на представителя иной среды.

Третьим консерватором, предпочитавшим сушу морю, был Капи, не проповедывавший, впрочем, отречения от жившего в наших душах стремления ко всему необычайному. Капи, юморист, влюбленный более в пригород, чем в настоящую деревню, приступил к осуществлению своей мечты; около Сен-Кена он снял домишко и превратил его в кабачок. Им самим написанная вывеска привлекала к домику любопытных. В зале были прилавок, столики, табуретки, стаканы, бутылки всех сортов, а среди всего этого Капи, с салфеткой под мышкой, ожидал посетителей. Но в местности, где все знали юмо-риста, никто не поддавался искушению. К Капи относились с недоверием, к нему остерегались заходить. Но однажды случилось, что какой-то проголодавшийся проезжий зашел в эту странную харчевню, уселся, поискал глазами слугу.

Капи сам прислуживал, принес ему на выбор несколько бутылок вина, подал кофе, папиросы, все самое лучшее, потом, когда пришедший в приятное расположение духа посетитель спросил счет, Капи сказал, понизив голос:

— О, об этом не стоит и упоминать, сударь, вы у меня в гостях.

— То есть как же это?

— Вы мне ничего не должны... С меня достаточно чести, которую вы мне оказали, позавтракав у меня.

— А... вы... Что это вы говорите?

— Так до скорого свидания! — заключил Капи.

Посетитель не подымал более вопроса об уплате. Он тупо рассматривал странного хозяина и затем, охваченный вдруг страхом, что с ним хотят сыграть какую-то скверную штуку, выскочил за дверь и пустился в бегство.

Этой забавной истории далеко до рассказов великого Джека Лондона, и я немного подозреваю, что Капи ее выдумал, чтобы нас подурачить. Впрочем не все ли равно? Наши «землепоклонники», как их можно назвать, хотели побороть увлечение пустынными островами и призрачными кораблями и считали, что все средства хороши для подобной цели. Они предпочитали бродяг и рыцарей большой дороги, мы — корсаров и искателей счастья; но это не мешало обеим сторонам жить дружно, балагурить и чокаться при всяком удобном случае. Нас объединяло то, что все мы стремились брать от жизни как можно больше радости. На Монмартре для всех находилось место, и каждый мог жить так, как ему нравилось. Одним — благодатный простор деревни, уголки, открываемые ими в

Сен-Дени и Сен-Кене, представлялись какими-то неизвестными гаванями, где их овевал ветер с открытого моря. Другие видели то, что есть: маленькую деревушку, с узкими улицами, с дремлющими в молчании лавчонками. И я должен признаться, что затруднился бы встать на сторону любителей моря или любителей земли, ибо порою я воображал, что вижу вдали море, порою же — видел немые просторы, которые окружают нас в настоящей деревенской глуши.

IX

Сколько иллюзий, увы, время рассеяло перед моими глазами! Когда я думаю об этом, когда я снова вижу Монмартр не таким, каким он нам казался когда-то, но таким, каков он в действительности, с его высокими зданиями и кабачками, набитыми американцами, — мне кажется, что это сон и я не узнаю его. Однако — вот Фредерик у двери своего заведения, вот «отель дю-Тертр», «Кукушка», «Прекрасная Габриэль»; вот маленькая церковь, колокол которой усердно звонил каждый вечер. Вот, за стеной старого кладбища, большие деревья, листья которых осенью усыпали каменные плиты и падали в наши стаканы. Вот сияет вдали бесчисленными огнями Париж, а ветер, как и некогда, играет его огнями. Ничто не изменилось вокруг. Нет лишь тех, кого мы любили, умерла и самая любовь в 20 лет и наша юность. И воспоминания могут воскресить их только на одну минуту, не больше.

О, память, мой корабль свободный!
Довольно нам с тобой бродить
По водам, для питья негодным.
Довольно нам с тобой рядить
От солнечной зари до полночи безродной, —

писал Гильом Аполлинэр.

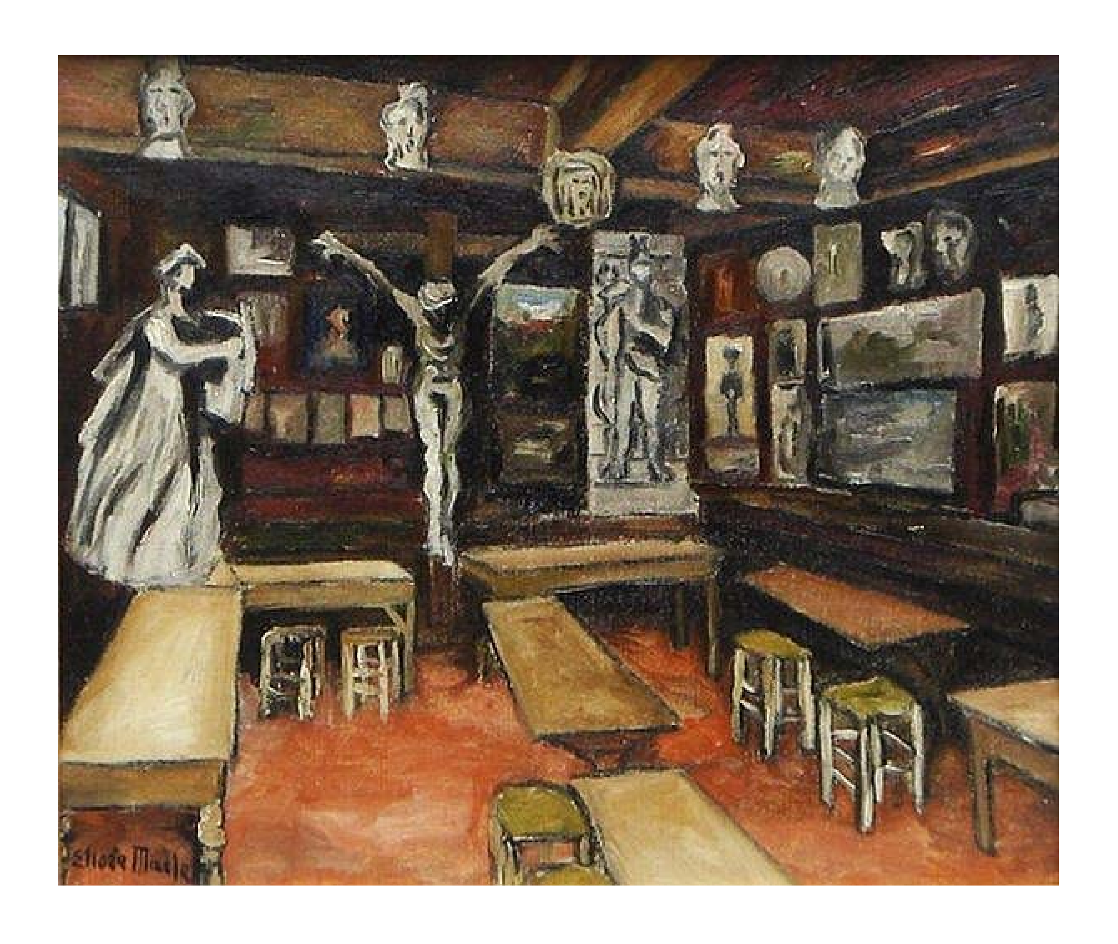
Что ему ответить? Разве он, невидимый, не с нами всегда, среди этих грядок, плетней, мастерских, садиков, где мы гуляли некогда? В «Кролике», — где, бывало, несмотря на его громкий смех и шутки, мы чувствовали, что он тайно страдает, — его до сих пор помнят и мысленно призывают. Те, кто его знал ближе, чем я, могли бы больше сказать о нем, изобразить его в спорах с Сальмоном, Максом Жакобом, Пикассо на тему о чистой поэзии, о неграх в искусстве, о качестве завтраков, о кубизме или орфизме. Он любил поучать других, сбивать их с толку, ошеломлять, и потом безобидно посмеяться над ними и над самим собой. Не было человека милее его на Монмартре, и, что бы он ни проделывал, всеобщая симпатия к нему оставалась неизменной. Он очаровывал, покорял людей. Я еще вернусь к Гильому Аполлинэру в дальнейшем изложении, так как в

1913 году я с ним часто встречался в кафе на левом берегу, где его окружала всегда целая свита.

Между Монмартром и Латинским кварталом, столь несхожими меж собой, уже задолго до этого года началась открытая борьба. Дерен, Сальмон, Аполлинэр, Пикассо, Модильяни очень редко показывались теперь в «Кролике». Они развлекались в другом месте, и, должен признаться, без них наши вечерние сборища много теряли. Не было той возвышенности, окрыленности духа, того блеска фантазии, какие вносили эти товарищи. Теперь царило другое, более будничное настроение, другие заботы нас занимали. И уже замечалось какое-то смутное, глухое беспокойство, побуждавшее нас порою пересчитывать товарищей. Мы как будто боялись, что наша тесная компания вот-вот дрогнет — и рассеется во все стороны на волю ветров. Но пока еще на площади дю-Тертр, на терассе Бускара собиралась веселая, жизнерадостная компания: Шас Лаборд, Дараньес, Асселен, Жирье, Делиньер, Варно, Доржелес. Мы обедали за одним столом, потом, когда нас тянуло в берлогу Фреда, мы отправлялись искать Мак-Орлана и находили там его и его «команду» в полном составе. Так проходил вечер. Девушки и гуляки, ценители поэзии, братались с нами, постоянными клиентами Фредерика, говорили нам «ты», предлагали выпить. Эти гуляки обладали чувствительным сердцем и «артистическими вкусами» и, если какая-нибудь из дам оставляла их ради одного из нашей компании, они не сердились. Иногда они уходили на время и, потанцевав в «Ла-Галет», возвращались с новыми подругами. Все они были разного типа и происхождения — и это придавало особое очарование кабачку Фредэ. Но все одинаково любили легкую и веселую жизнь в «Кролике», с ее литературной отравой. Да и кто же хоть раз не испытал того внезапного очарования, когда при свете ламп, затененных красной шелковой шалью, под низким закопченным потолком большой комнаты, где певал Фредерик, чувствуешь себя, бывало, захваченным и словно одурманенным чем-то сильнее и слаще опиума? Ни одна греза, ни одно наслаждение не могли сравниться с этим ощущением. Это было нечто ни на что не похожее. Какое-то особое опьянение мечтой и печалью, глухой, без отклика. Оно окутывало нас подобно тому, как звук осеннего дождя, то перестающего, то снова льющегося, баюкает и погружает в сладкое оцепенение.

В эти ночи на улице, действительно, часто шел дождь или снег, а внутри кабачка наиболее пьяные спали, растянувшись на скамьях, в то время как на камине прыгали белые, чистенькие, резвые ручные мышки. Невозможно описывать обстановку наших долгих ночных бдений, не испытывая при этом какого-то странного чувства, рожденного невыразимой болью утраты. Обстановка эта напоминала лавку старьевщика, где непристойные статуэтки стоят рядом с огромным гипсовым Христом и с картинами Пикассо, Утрильо и Жи-

рье. Трубки душно дымили. Фредерик с гитарой, Мак-Орлан в костюме ковбоя, сырость стен, собачий лай за окном, тайные печали каждого из нас, нищета, наша молодость, наши напрасно потерянные годы — все вместе создавало ту атмосферу, о которой я говорю. Как ее опишешь? В иные вечера мы все бывали пьяны — и некоторые



Жюль-Эмиль Макле. *Интерьер «Проворного кролика»*

испытывали острую грусть, чувство ужасного одиночества, но не проявляли этого ничем. За исключением бедняги Кутэ, который быстро приходил в такое состояние, что нам приходилось укладывать его на пол, под столами; никто не давал заметить, что он пьян. Кутэ же, просыпаясь, кричал во весь голос или, вскакивая, швырял на пол бутылки и стаканы, — и, тогда, чтобы заглушить скандал, мы все начинали петь хором.

Такие зрелища были в то время делом обычным, вполне в духе нравов Монмартра, и не останавливали ничьего внимания. Иногда даже эти ночные развлечения заканчивались револьверными выстрелами с улицы по стеклам кабачка. Это бывало, когда в дело вме-

шивались те господа, которых Фредэ не любил пускать в свой кабачок. Они всегда готовы были принять участие в увеселениях и делали это на свой манер, а их бывшие подруги дрожали от волнения: для них это был зов улицы, напоминание о прежних похождениях, о прошлых любовных историях, жутких и опасных. Для нас же это было просто великолепное возбуждающее. Иной раз случалось, что в «Кролик» неожиданно проникали сутенеры, решившие наказать своих девиц, и, размахивая ножами или бритвами, сеяли ужас вокруг. Занятные часы! Эти типы, окружившие меня как-то в зимнюю ночь, когда я возвращался домой, были настоящие звери. Их плащи, жесткие, словно свитые из веревок, имели форму макферланов, таких точно, какие носили во времена дилижансов грабители с большой дороги. В руках у них были тяжелые кастеты. Откуда шли эти субъекты? Из каких отдаленных кварталов? Вероятно, их привлек какой-нибудь подозрительный бал на высотах Монмартра...

Сальмон в «Tendres Canailles» посвящает им строчки, где говорится о «злодеях, пивших с ним вино и позволявших ему трогать их оружие». Из этого видно, какие странные приятельские отношения существовали на улице Сен-Венсен между поэтами и разными темными личностями. У Фредерика был сын Виктор, и все девицы, приходившие сюда с балов в «Moulin» или «La Galette»[8], были в него влюблены. Виктор всем им кружил головы или, по их выражению, «сбивал их с ног». Сложные и запутанные интриги сменялись одна другой, и целые банды опасных субъектов следили за «Кроликом». Помню, летом 1911 года около полуночи (час, когда «Мулен» и другие притоны закрываются) какие-то люди бродили во тьме вокруг «Кролика» и вызывали Виктора, угрожая ему. Но Виктор не отзывался. Он держался у прилавка совершенно спокойный, с неизменной улыбкой на губах, но зорко следил за дверью. Я не был свидетелем происшествия, закончившего эту войну. Но, несколько времени спустя, мне довелось прочитать в газетах, что несчастный сын Фредэ был убит у прилавка субъектом, который, попросив у него разменять 10 франков, выстрелил в него в упор из браунинга.

Эта новость застала меня уже в провинции, и я сразу почувствовал, что теперь все должно измениться. Я думал о Фредэ, представлял его себе одиноким, постаревшим, растерянным, в опустелом и запертом доме, в смешном наряде опереточного бандита. Мне было невыразимо жаль его. Но жизнь любит парадоксы. Мы в этом убедились, когда, — огорченные до глубины души прежде всего за Фредэ, а потом и за себя, так как это событие выбивало нас из колеи, — мы, воротясь, нашли «Кролик» открытым и всех клиентов в сборе. Первое время в старом кабачке было не так весело, как обычно; но в один прекрасный вечер Фредерик снова запел, запели

[8] «Moulin» и «La Galette» — известные танцульки на Монмартре.

и мы, — и жизнь потекла по-прежнему, тем же беспорядочным, причудливым темпом, которого, казалось, ничто не могло нарушить.



Морис Утрилло. *«Проворный кролик»*

Менялись только люди. Мак-Орлан женился и покинул Монмартр. Большинство товарищей, пользуясь хорошим приемом, какой им оказывали в «Ле Сурир» у Гус-Бофа, реже бывали теперь на Монмартре, чем на бульварах и в редакциях. Ролана Доржелес теперь встречали в таксомоторе. Варно, попавший в «Комедию», Шас Лаборд, рыскавший по Парижу в поисках материала для своих иллюстраций, — все они дезертировали из «Кролика». Это было начало конца. Да и сам я, решив в один прекрасный день, что надо работать, покинул улицу Коленкур ради Латинского квартала, и мало-помалу, силой вещей, мы стали лишь изредка встречаться у Фредерика, где нас уже сменили более молодые.

Только Дараньес, Асселен, Жирье, Делиньер, Депаки, Делав, Фальке и некоторые другие упрямцы остались верны старым привычкам. Однако и они немного забросили кабачок Фредэ. Их встречали у Адели в ее досчатом балагане, где прекрасно кормили, в «Деревянном биллиарде», у Маньера, который ныне продолжает тра-

диции «Кролика», у Бускара, у старика Шпильмана. Но, несмотря на то, что они часто бывали вместе, их группа утратила прежнюю свою сплоченность. «Деревянный биллиард», пущенный в моду рисовальщиком Гасье, который постоянно соперничал с Пульбо, одно время совсем очаровал нас. Его беседки, тенистый двор, посетители, состоявшие из мелких коммерсантов, молодежи, девочек с Монмартра, нравились нам. И, надо признаться, больше всего привлекали нас две прекрасные картины Ренуара, написанные им на стенах этого кабачка, а также чудное полотно Марии Лоренсен.



Мари Лорансен. *Аполлинер и его друзья*

Надо было быть чудовищем, чтобы, узнав Марию Лоренсен, не полюбить ее. Это была самая живая, самая веселая из женщин. Ее грация и резвость могли бы расшевелить и мертвого, тронуть самое каменное сердце. Кроме того, мы чтили в ней предмет любви, горькой и сладостной, нашего друга Гильома, женщину, вдохновившую его на самую прекрасную из его поэм. Когда она появлялась в ореоле белокурых волос, ясноглазая, улыбающаяся, естественная, милая, — нам тотчас приходили на ум стихи из «Песен нелюбимого», и мы их твердили про себя, меж тем как Мария, усаживаясь за стол, глядела на нас в недоумении и иногда допытывалась, о чем мы думаем. Могли ли мы сказать ей? Кто посмел бы это сделать? И мы отмалчивались, а в памяти звучало:

В тумане Лондона, под вечер
Мальчишка, походивший на
Мою любовь, мне шел навстречу,
И так взглянул он на меня,
Что я потупил взгляд и плечи.

Присвистывал, шатаясь, он,
И я побрел за ним покорно.
Так шли средь разъяренных волн
Между домов, как в море Чермном,
Евреи — он, я — фараон.

Когда ты не была любимой,
Кирпичные пусть рухнут скаты!
Сестра Египта властелина
Пускай достанется солдатам —
Когда ты не была единой!

Где блещут сонмища огней,
Как кровоточащие раны,
Дома в гирляндах фонарей
Торчат из мокрого тумана,
И женщина подобна ей.

То взгляд ее высокомерный,
На голой шее алый шрам, —
Выходит пьяной из таверны, —
И в этот миг я понял сам:
Любовь бывает лишь неверной.

Милая Мария! Она отлично знала, она могла видеть, что мы не питаем к ней злобы за то, что она сделала Гильома таким несчастным. Иногда она осведомлялась о нем. Иногда, удивленная нашим молчанием, она уходила, напевая песенку, а мы следили за ней глазами и не верили, что она может не испытывать такого же огорчения, как и мы. Было что-то во всем ее существе, перед чем нельзя было устоять. Вокруг нее, казалось, витали нежные воспоминания. И, несмотря ни на что, она оставалась для поэта нежно любимой подругой, для нас же — сестрой, благодаря тому сладост-

ному страданию, какое она будила в сердцах и за которое нельзя было не быть благодарным. Тысячью неуловимых путей она вела нас к тому же отчаянию, какое переживал Гильом, и заставляла нас глубже понимать и сильнее сочувствовать поэту. Чем, по сравнению с этими переживаниями, были наши любовные истории на Монмартре? Ничем или почти ничем: мы думали о них с глухим разочарованием, с горьким ощущением усталости и отвращения. Жалкие возлюбленные, слишком обыденные, слишком банальные. Всякий раз новые — и всегда одни и те же. Наши подружки, воображавшие, что дают нам всю полноту счастья, в конце концов только мучительно нас раздражали и отталкивали от себя. Чего же им нехватало? Не берусь сказать. Может быть, требовалось меньше легкости, веселости, снисходительности. И все же — мы проводили с ними дни, ночи, и, когда случалось, что одна из этих хорошеньких девушек нас бросала, мы испытывали такую грусть, что нелегко нам было скрыть ее.

Сколько раз, воротясь на рассвете в свою комнату, я испытывал боль от сознания, что я одинок, и мужество меня покидало. Я бы отдал полжизни, чтобы не ощущать этой пустоты, и делал тысячи глупостей в своем стремлении забыть о ней. Я мог бы уехать на край света и все-таки вернулся бы одиноким, как всегда! В эти минуты мне так хотелось избавиться от жизни, что казалось, будто я двигаюсь и думаю и даже сплю не в действительности, а только во сне. Это было мучительно. Я хорошо разбирался в своем настроении. Я осуждал — и вместе жалел себя. Но молодость снова брала свое, и, далекий от того, чтобы принять какое-либо решение, я гнался за наслаждениями, и они своим дурманом заглушали боль.

Помню, как только наступал вечер, меня тянуло на улицу, где загорались огни кабачков и отелей. Я бродил под дождем по Монмартру или углублялся в любимые кварталы Робера де-Ла Вэссьер, ища самых темных приключений. В грязных меблированных комнатах в Гренель, у Бастилии, я проводил по нескольку дней, пил, курил и не спрашивал себя, что заставляет меня искать общества публичных женщин и их любовников-воров.

В этой благородной компании я посещал «балы» и танцевал там под звуки волынки. Так я забывался до той минуты, когда, почувствовав отвращение к этому идиотскому времяпровождению, я снова возрождался для иных, чистых ощущений. Тогда ничто более меня не удерживало там; поспешно с другого конца Парижа я возвращался к себе и, словно прибыв из далекого путешествия, чувствовал умиление; все меня встречало радостно, все мне было мило. А когда среди моей почты какое-нибудь неприлично надушенное письмецо напоминало мне о мимолетной связи, это искренно забавляло меня — и только!

Да простят мне эти признания, но без них, может быть, было бы не понятно —

Как мгновения угрюмые
Для поэтов настают
И крылатые безумия
Их к погибели влекут.

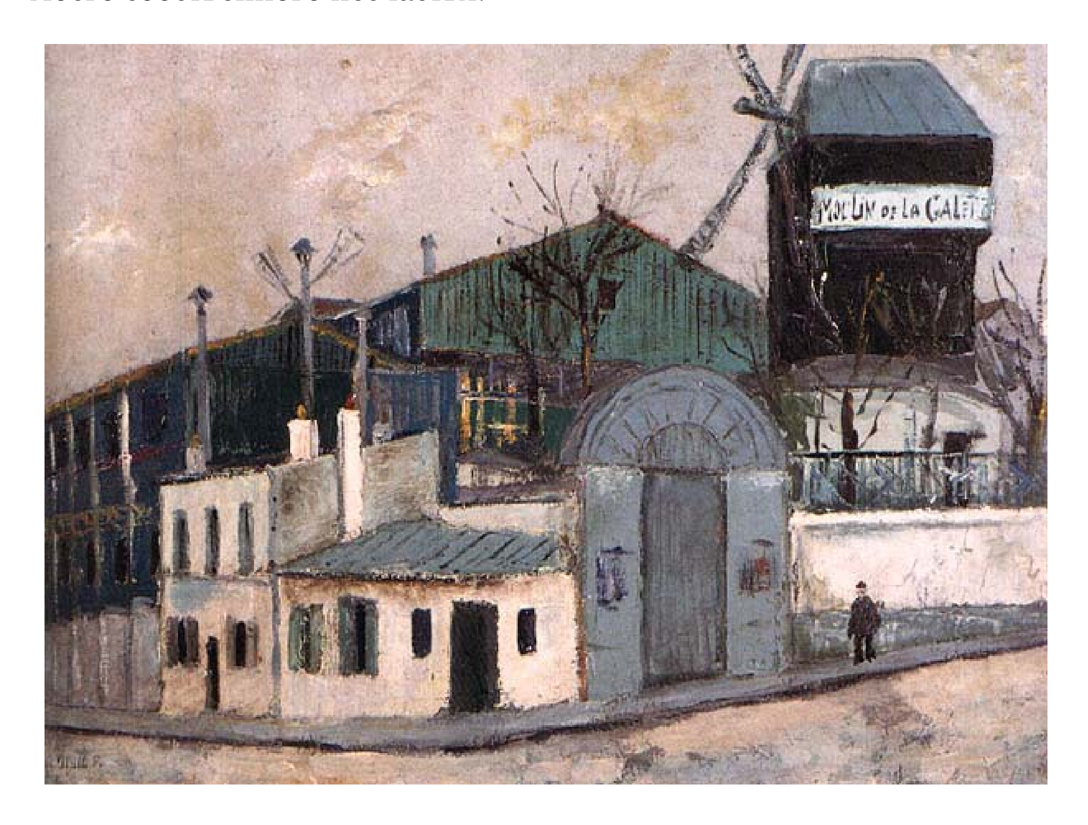
И таких мгновений мой будильник прозвонил мне много, больше, чем приличие позволяет мне сознаться читателям.

Велика ли моя вина? Я мог купить некоторое успокоение лишь такой ценой; эти вылазки, понижая мои требования к самому себе, давали мне наслаждение и опустошали меня еще более. Мог ли я бороться? Нет, это было выше моих сил. И любопытнее всего то, что, презирая самого себя, я был убежден, что презрение достаточно искупает самые проступки. В таком состоянии духа нечего было рассчитывать спастись. Казалось, кто-то посторонний хозяйничал во мне, диктовал мне мои слабости и заблуждения. Если какое-нибудь невинное существо, жаждавшее внушить мне постоянное и серьезное чувство, приходило ко мне, я играл комедию, смеясь в душе и над нею и над собою. Чтобы обмануть ее, все средства были для меня хороши. Если я поддавался на минуту и становился искренним, то, тотчас же спохватываясь, вознаграждал себя жалобами и чувствительными излияниями, мысленно видя себя таким, каков я есть на самом деле. Поистине не жаль мне того времени, времени, когда лишь зло и самолюбование доставляли мне настоящее удовольствие. Если я страдал, — я быстро утешался. Но, толкаемый какой-то странной потребностью, я мучил себя и, не успев еще перестать страдать, погружался в новую муку, не щадя себя и не сдерживаясь.

О поэтах говорят, что они всегда готовы принести в жертву свое счастье, чтобы, испытав боль, суметь найти для своих песен более искренние, более человеческие звуки. Возможно, что это так. Бодлэр и его «сладострастие раскаянья» давно меня привлекали. Каждый человек вынужден следовать велениям своей натуры. Моя — толкала меня на ужаснейшие сумасбродства. От крайности в печали и нужде — я переходил к крайности в наслаждениях. Что мне было за дело до теорий? Я удивлялся коварству и лживости женщин — и позволял им опутывать себя. Одна из них заявляла мне, что она списала все мои письма в тетрадку, чтобы потом перечитывать их вместе со своим мужем, — и изменяла мне ради него. Другая, желавшая вернуть меня на путь истинный, приводила меня в уныние, отдаваясь не иначе как со слезами. Они поучали меня, втягивали меня в свою игру и каждый раз пробуждали во мне желание бежать от них далеко.

Так, пестрой чередой, проходили эти все же прекрасные годы. Я открывал в моих друзьях то же стремление обрывать всякую начинавшуюся любовь. Зачем я не поступал, как они? Некоторые из них даже любовались, как зрители, драмами, причиной которых они были, тогда как я, завязывая с падшим девушками связи, за которые

мне бы, быть может, следовало краснеть, барахтался в пьянстве, в отвращении, в муке — и не мог освободиться. Чем больше возрастали эти мучения, тем больше я чувствовал себя во власти моих пагубных привычек. Я любил не только этих девушек. Может быть, еще больше любил я мрак улиц, отели, кабачки, холод, мелкий дождь, сеявший над крышами, случайность встреч и потом — в комнате — острое ощущение заброшенности, сжимавшее мне сердце. Эта обстановка, которой темные зимние ночи придавали какой-то трагический и волнующий колорит, держала меня в плену, давая мне ощущения, ни с чем несравнимые. И я упивался терпким вином моего собственного несчастья.



Морис Утрилло. *Мулен де ла Галетт*

Не передал ли Утрильо в своем творчестве эту таинственную и жестокую одержимость, которая в определенный период жизни сказалась на нем сильнее, чем на ком бы то ни было? Это она тяжестью легла на наши 20 лет и отметила лучших людей моего поколения таинственным знаком, по которому они всегда смогут узнать друг друга. У Утрильо она сразу бросается в глаза, потому что Утрильо так тщательно углублял и растил в себе эту мрачную «одержимость», что не сумел уже освободиться от нее никогда. Вспомните пустынные перспективы в его этюдах Парижа и предместья: на стенах, на фасадах домов с закрытыми ставнями, на коричневых прилавках кабачков светит какой-то неподвижный, зас-

тывший свет, который мог родиться лишь в тех глубинах мечты, о которых никто не осмеливается говорить. И какая в этих далях Утрильо тревожность, какая неуловимая, беспокойная, смутная тоска, какие раздирающие призывы! Кажется, будто в ту самую минуту, когда помощь была близка, единственное живое существо в мире ушло, повернуло за угол одного из этих нарисованных домов — и скрылось навеки. Как же оно не услышало зова? И отчего? Я пишу эти строки — и вижу мысленно перед собой одну из картин Утрильо, где с магической властью проступает то, что составляло силу и величие художника. На этом полотне белые, синие и розовые тона дают такую чудесную гармонию, что вы не можете от них оторваться. Узкий дворик, стены, открытая дверь, немного листвы над самою крышей. Тишина! Вспоминается Верлен, вздыхавший:

О, боже мой, ведь рядом жизнь
Совсем простая, —

и, незаметно, вид этого чистенького дворика чем-то вас притягивает, вы подходите ближе с любопытством; и как будто из-за ставень вас кто-то наблюдает, а вы притворяетесь, что не замечаете этого. Но уверены ли вы, что там ничего нет? Не то ли другое наше «я», которое мы всю жизнь заглушаем, прогоняем, каким-то волшебством оживает, когда стоишь перед этой картиной? Эти места каждому человеку так знакомы! Он их у з н а е т. Чувство, которое охватывает при этой странной встрече со вторым своим «я», способны понять лишь те, кто, когда в первый раз произошла эта встреча, был слишком слаб, чтобы спастись от нее бегством.

Поверите ли, я перед картиной Утрильо впервые почувствовал этот страх, не поддающийся анализу, это беспокойство, и, бредя поздно по улицам, осознал в своем мятущемся существовании все то, что волнует в тишине ночи, что в отчаянии ищет себя самого, приходит, уходит... и возвращается снова, несомое ветром. Я не умею объяснить лучше; на другое утро, при свете солнца, мне стоило величайшего из усилий вернуть себе прежнее настроение, собрать мысли. Я испытывал острую муку. Я боролся с той темной силой, которой дал себя околдовать накануне, и, в конце концов найдя себя снова, разозлился. Да и как было не злиться? Все изменилось, и вдохновенный поэт прошлой ночи превратился в поденщика, лишенного фантазии, в копировщика, который, строча стихи, забыл, если не их ритм и тоскливый жар, то во всяком случае их смысл!

Печальные пробуждения! Монмартр казался уже просто кварталом Парижа, ничем не отличающимся от других. Кредиторы ломились в дверь. Консьержка с квитанцией в руке требовала денег за квартиру.

— Чем доводить себя до такого состояния, — говорила эта смешная особа, — вы бы, сударь, лучше...

— Да, да, конечно!.

Макс Жакоб выходил к кредиторам с каким-нибудь извинением. Другие, сидя за рабочим столом, совершенно голые, кричали на стук: «Войдите!» и, когда кредитор врывался, отвечали хладнокровно: «Вы видите, у меня уже взяли все, до нитки!» Но обыкновенно все споры начинались по ту сторону дверей, и мы спасались от них рысью. Каждый триместр — 15-го числа (роковое число!) супружеские пары, казавшиеся неразлучными, расходились, потому что наступал срок уплаты молочнику, мяснику, бакалейщику; все поставщики делали из этого очень нелестные для нас выводы, которые и преподносили нам при всяком удобном случае. А мораль, которой они нам так надоедали, все же была моралью и, если бы мы на нее обращали внимание, пожалуй, только она и могла бы отвратить нас раньше времени от поклонения случайностям жизни. Мне вспоминается по этому поводу, как меня однажды разбудили в гостинице на улице Лепик. Мне пришлось оставить хозяину стихи, платье и туфли и, стуча зубами от холода, без пальто, без шляпы (а на дворе стояла зима) удирать в кабачок на площади Пигалль. О, какими безобразными казались мне в то утро площадь, фонтан, зеленые автобусы! Стоя у прилавка, весь окоченев, полусонный, я смотрел в окно на прохожих, и настроение у меня было самое унылое. «Каково! — говорил я себе. — Платить? Постоянно одна песня — плати!»

Я думал о товарищах, которые, вероятно, в аналогичных случаях предавались таким же точно размышлениям, и, пав духом, постигал, что Монмартр, так же, как и всякое другое место, не есть рай для артистов и что им некуда идти. Текучие струи фонтана, крутые улицы, спускавшиеся к Парижу, все манило вдаль. «Не уехать ли?..»

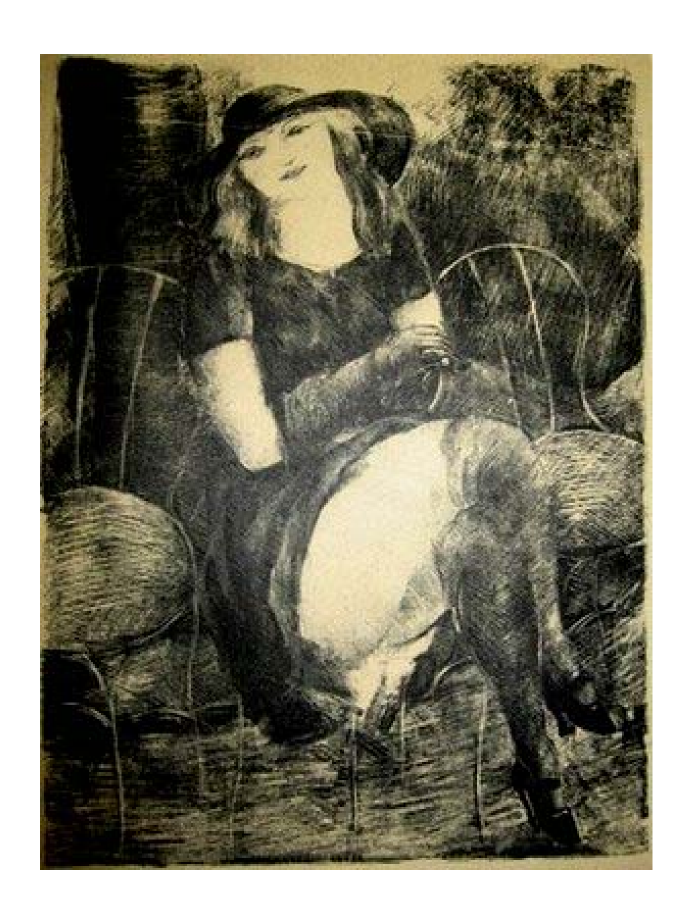
Я вышел из кабачка в ту минуту, когда автобус «Площадь Пигалль — Винный рынок», качаясь, двинулся с места,— и вскочил на его подножку.

X

Когда едешь в автобусе «Площадь Пигалль — Винный рынок», разница между Монмартром и Латинским кварталом сразу бросается в глаза. Вдруг открываешь совсем иные места, непохожие на «Мулен-Руж», «Ля-Галет», «Кролик», даже «Сакрэ-Кёр». Многое встает в памяти...

Острый зубчатый шпиц «Ля-Шапель», башни Нотр-Дам, притвор церкви св. Жюльена Нищего мелькали передо мной в синеватом свете зимнего утра, и, хотя на этом берегу Сены я не располагал ни-

каким кредитом, я вдруг почувствовал прилив бодрости. Когда-то давно, приехав впервые в Париж, я поселился на острове Сен-Луи, так как Шарль-Луи-Филипп писал мне из своей комнатушки, что это — единственное на свете подходящее место для поэта. Но Шарля-Луи-Филиппа уже не было в живых, когда я поселился на набережной Бурбонов, и я не долго оставался там. Это тихое, уединенное место с его меланхолическими деревьями, рекой, старинными домами, мне чересчур напоминало провинцию. Мне было скучно, а мои поздние возвращения по ночам вызывали негодование консьержки, и это меня очень стесняло. К чему скрывать: я был тогда еще очень робок, мне недоставало уверенности в себе. Меня ошеломляли пивные, рестораны, кафе, кареты и вечное лихорадочное оживление Парижа. У меня было еще очень мало знакомых. Когда я усаживался в каком-нибудь кафе или баре и смотрел на женщин, они мне внушали скорее удивление и восхищение, чем же-



Люк-Альбер Моро. *Сидящая проститутка*

лание, — и я не смел к ним подойти. Одну из них, которую я встречал в таверне Пантеона и которой восхищался про себя, очень

забавляло мое смущение. Эта брюнетка, курившая великолепные сигаретки с золотым концом, была одной из самых доступных: она была далека от того, чтобы «держаться своей цены», и после закрытия заведения была готова идти за любую плату. Но мне, разумеется, и в голову не приходило пользоваться такой «скидкой», и наше знакомство состоялось только тогда, когда она однажды вечером попросила у меня три франка на извозчика, объяснив, что у нее очень болит нога. Я их, конечно, дал ей и, остолбенев от изумления, увидел вслед затем, как милая попрошайка, сразу перестав хромать, со всех ног помчалась к кондитерской, где дамы этого сорта имели обыкновение «угощаться» всю ночь.

Это маленькое происшествие послужило мне уроком, просветило меня насчет этих девушек больше, чем самое длительное знакомство. На следующий день мне очень недоставало отданных трех франков, так как в те времена на эту скромную сумму я мог прожить день: их хватило бы не только на еду, но и на выпивку и на курение. Наши обеды на улице Горы св. Женевьевы, — где я обедал вместе с Бернуаром, тем самым, что надоумил меня писать и печатать книги, — стоили двенадцать су. Хлеб — десять сантимов, порция жаркого— тринадцать сантимов, зелень — пятнадцать сантимов и чашка горячего шоколада — одно су. Так вот сколько благ земных означали для меня три франка! Но я философски утешил себя тем, что зато мне вперед будет наука и больше не думал об этом случае.

В другой раз я оказался богаче. Помню, я проходил через Малый мост, подбрасывая на руке золотую монету, сулившую мне целую неделю благополучия. Дело было поздно ночью, почти на рассвете. Мелкий зимний дождик сеял на асфальт, на тротуары, на черные кусты вдоль набережной, и, вытянувшись в одну прямую линию, мерцали огни газовых фонарей. Вокруг в этот час — ни души. Только ночной сторож в своей будке что-то брюзжал, кутаясь в длинный плащ, и топал ногами, чтобы согреться. Он поздоровался со мной, когда я проходил мимо, и в ту минуту, как я обернулся, чтобы ответить, монета моя выскользнула из пальцев и исчезла в темноте, неизвестно куда.

— Ах, как это глупо!

— Что? — спросил, не расслышав, сторож.

— У меня было десять франков ...

— Десять франков?

— Да, — сказал я огорченно, — и вот...

— Так надо их поискать, — заметил он, на минуту перестав топать сапогами о пол будки. — Они не могли далеко закатиться.

Тут подошел какой-то нищий, который плелся к рынку, подняв воротник своего ветхого пиджака, и осведомился осипшим голосом, что такое случилось и не может ли он быть полезен.

Мы объяснили ему, в чем дело, и я чиркнул спичкой.

— Стойте! — проворчал нищий, — Вот встаньте-ка сюда и не ерзайте, иначе ни за что не найти!.. Светите сюда, в канаву.

Опустившись на колени, он шарил руками в грязной воде, ощупывал каждую пядь земли, медленно пропуская сквозь пальцы жидкую грязь.

— Пополам, а? — предложил он. — Обещаете?

— Конечно, конечно.

— Ну, тогда потерпите, старина, я найду!

Волнующий момент! Пока спички мои гасли одна за другой, а человек этот тщательно исследовал мостовую, из темноты вынырнули и собрались вокруг нас еще какие-то личности, дрожавшие от холода подобно моему нищему и весьма заинтересованные нашими маневрами. Они, кажется, появились из-за кустов, росших у подножия памятника Карлу Великому. Услыхав, что произошло, все тотчас принялись за работу: женщины, бывшие среди них, точно так же искали, под все усиливавшемся дождем. Я чувствовал себя усталым, я был подавлен видом этих несчастных, из которых каждый в душе молил фортуну, чтобы сто су достались ему, и уголком глаза следил за остальными. Я больше не мог этого выносить и, отказавшись от своих денег, уныло побрел домой.

«Какая жалость!» — говорил я себе.

Но, когда я раздевался, золотая монета, каким-то чудом застрявшая в отвороте моих брюк, выскользнула из своего убежища и покатилась по полу.

У меня долго оставалось очень тяжелое чувство от всей этой истории из-за того, что я истратил все десять франков на себя, не поделившись с теми, кто их искал. До сих пор я не могу вспомнить об этом без чувства стыда. Я, правда, на следующую ночь, в тот же час, на том же самом месте пытался разыскать вчерашних людей, но тщетно: никто не мог мне о них сообщить что-нибудь. Таким образом, мне оставалось сохранить для себя все десять франков. Прошли дни, годы, и я все реже вспоминал эту ночь, но всякий раз, как мне случалось проходить по Малому мосту, у меня становилось тяжело на душе ...

Во всем этом сыром квартале Парижа нет местечка, которое мне не напоминало бы унылых дней, когда после переселения с Монмартра я без гроша в кармане, зимою, бродил голодный, и запах жареных каштанов нестерпимо раздражал мое обоняние. На улице Були, на набережной Сен-Мишель (на углу площади), на улице Сен-Андрэ этот запах меня пьянил, томил, мучительно обостряя голод. Но, заметив еще издали жаровню и мешок торговки каштанами, я подтягивался, чтобы никто ни о чем не догадался. На что я мог жаловаться? Я бросил Монмартр, чтобы работать, чтобы вести в своем углу такую жизнь, какая мне нравилась. Тем хуже для меня! Или тем лучше! Я был свободен. Мне оставалось быть только упорным и неутомимо работать. Я так и поступал. Но у меня далеко не всегда

бывали двенадцать су, чтобы уплатить за свой обед на Горе, и я часто голодал. Помню, как, пролежав три дня без пищи в своей конуре на улице Висконси, я вышел вечером и пошел, сам не зная куда. Холод сильно давал себя знать. Я дрожал и стучал зубами. В ушах у меня стояло какое-то мучительное жужжание, и люди, мимо которых я проходил, останавливались и оборачивались, чтобы посмотреть на меня. Улицы, погруженные во мрак, казались мне бесконечным туннелем. Я машинально брел по направлению к Сене; миновал набережную, перешел мост... Смутный инстинкт привел меня к рынкам. Но это еще не был тот час, когда несчастные выходят на разведки, и меня лишил мужества вид чисто подметенных и блестящих плит. Ожидать, стоя у какой-нибудь двери? Этого я не мог. Силы мои совсем истощились, я был подавлен, одинок. Что это был за вечер! Шатаясь, спотыкаясь, с пустотой в голове, отупелый от голода, я добрался до скамейки на Севастопольском бульваре и повалился на нее. Холодный ветер подымал с земли вихри пыли и леденил мне ноги. Я смотрел, не видя, перед собою, и не слышал ни трамваев, ни тяжелых карет, катившихся мимо меня, когда, по воле случая, старая женщина, за минуту перед тем появившаяся недалеко от моей скамьи, подошла и села рядом.

Это было жалкое и противное на вид создание в стареньком боа, перья которого трепались по ветру, в смешной шляпе, в митенках, с ридикюлем. Чего ей от меня надо было? Слова, которые она произнесла, садясь, прошли мимо моего сознания, или, может быть, в них не было никакого смысла. Я медленно отодвинулся.

— Ну, что же, идешь? — спросила она резко.— А? Идем!.. Ты увидишь ...

Она взглянула мне в лицо, покачала головой и заметила:

— Ну, и вид у тебя! В чем дело? Ты не охотник до этого, что ли?

— Нет, нет, ступай.

И, так как она не уходила, я вдруг крикнул:

— Не видишь ты разве, что я умираю с голоду?

— Что ты сказал?!

— О, отвяжись ты от меня наконец!

Старая женщина пододвинулась еще ближе и, убедившись по-видимому, что я не лгу, молча встала и ушла. Через две минуты она воротилась с большим ломтем хлеба, горячего, аппетитного, и, не говоря ни слова, положила его передо мной на скамью.

Как поразительно глуп я был в те времена! Я ведь искренно верил, что все, что мне давала жизнь, мне следовало по праву, раз я писал стихи!

Один из товарищей как-то признался мне, что и он так же чувствовал.

— Подумай, что бы это было, если бы у меня не шло все так гладко? Каких бы глупостей я наделал!

«Если бы все не шло гладко»... Устройство, благополучие — думали ли мы об этом? Пример Мореаса, который не выходил из пивных (Макс Жакоб называл его «Матамореас»)[9], тоже не способствовал развитию в нас карьеризма. Мы мечтали о славе, и нас в конце концов мало интересовал вопрос о том, чтобы «хорошо устроиться». Если заходила речь о ком-нибудь, добившемся этого, то возглас Форена: «Да, но какой ценой!»... живо возвращал нам равновесие. Кафе бульвара Сен-Мишель, Даркур, Ла-Сурс, «Вашет», на месте которого теперь какой-то банк, Пантеон часто видели нас с Бернуаром и двумя-тремя его приятелями, которых он тоже устроил на работу в своей типографии. На улице Дюпюитрен в типографии «Ля-бель-Эдисион», где имелся старинный ручной пресс, мы зарабатывали свой хлеб с верстаткой в руках, со смехом на устах, с веселым усердием. Жу, гравер, ставший впоследствии знаменитым, учил меня, и я, будучи поэтом, упивался этой работой, набирая в свободные минуты буква за буквой свои стихи «Богема и мое сердце», которые мы собирались издать. Увы! Когда они были набраны, у нас оказалось мало бумаги, и я был вынужден разобрать свой так любовно собранный шрифт ради какого-то некстати явившегося заказа. Так моя книжечка и не была напечатана никогда.

— Пойдем, выпьем по стаканчику, — предложил, желая немного утешить меня, Бернуар.

И, показывая мне пригоршню луидоров, полученных им за этот проклятый заказ, он весело добавил:

— Есть на что попировать!

Чтобы спасти наше предприятие, чего только мы не проделывали на улице Дюпюитрен, когда у нас не было ни су в кармане! Мы продавали все, что можно было продать, вплоть до платья, которое Пуарье давал Бернуару, уверяя, что он его еще может поносить. Я пел по дворам, Жу бегал по всем книжным лавкам с огромнейшими счетами, а Кларнэ, румын, честно старался заинтересовать свою богатую родню нашим предприятием. Но все усилия оставались бесплодными. Нам не везло. За мои песни мне бросали английские или итальянские монетки, Жу возвращался из своих рейсов по магазинам и библиотекам с пустыми руками. Кларнэ женился, Бернуар в отчаянии рвал на себе волосы. Волосы у него были очень длинные, белокурые и придавали ему вдохновенный вид, особенно когда он небрежно откидывал их со лба. Он покорял сердца всех девиц Даркура, видевших в нем почему-то артиста, а не издателя; они даже частенько ставили ему угощенье. Как он этого достигал? Непонятно! Никто не пытался его разоблачить, тем более, что этот симпатичный малый был, что называется, «не дурак» и при случае умел это доказать. Он был старше нас по годам, но казался моложе, невиннее и иной раз даже сентиментальнее всех прочих. Это была

---

[9] Matamore – удалец, храбрец.

типичная фигура: наружность мальчишки, очень бледное лицо, голубые глаза, лукавый вид, манеры шутника и забавника, характер отчаянного спорщика, но всегда владеющего собой, умеющего сдержаться или снагличать по мере надобности.

Единственное, перед чем он позорно отступал, — были объяснения с судебным приставом в дни, когда наступал срок какой-нибудь уплаты. Тогда я прятал «патрона» за большой лист картона, и он присутствовал при дебатах, не шевелясь за своим прикрытием, и потом, когда пристав уходил, хохотал как безумный. О, мы вообще часто смеялись вместо того, чтобы приходить в отчаяние! Мы хладнокровно предоставляли делам улаживаться как-нибудь без нашего участия. Больше ничего не оставалось делать. И, словно чудом, в минуту самой острой нужды, появлялся какой- нибудь автор, который имел возможность печатать собственные произведения на собственный счет и давал нам задаток; или какой-нибудь друг, проездом в Париже, угощал нас в ресторане; или кто-нибудь из кредиторов, тронувшись нашими извинениями, снова открывал нам кредит. Мы принимали такие случайности как нечто должное, ничему не удивлялись и верили, что в жизни рано или поздно все налаживается, если человек на это твердо надеется.

Наши «кутежи» были не особенно роскошны. Мы удовлетворялись маленьким кабачком на улице «М-сье ле-Прэнс», где заказывали кофе со сливками и булочки, а также разнообразные и фантастические спиртные смеси собственного изобретения. Эта «М-сье ле-Прэнс», прославившаяся благодаря Барресу, имела не особенно эффектный вид. Кабачки, мрачные лавчонки, гостиницы, третьеразрядные дома терпимости тянулись по правую и левую сторону мокрых мостовых, и их грязные фасады и мутные витрины представляли малоприятное зрелище. На этой-то улице мы все встречались по ночам, поддерживая приятельские отношения с девушками и с эксплуатировавшими их мегерами. Мы слыли прескверными клиентами — и однако нас принимали хорошо. Нам предлагали выпить, и «мамаша Шарль» неизменно рассказывала нам историю своей жизни. В обмен на наши песни и рассказы белое вино текло рекою, мы его распивали вместе с шоферами такси, и затем дамы, знавшие, что мы — поэты, просили написать им акростих или диктовали нам длинные письма к своим кавалерам.

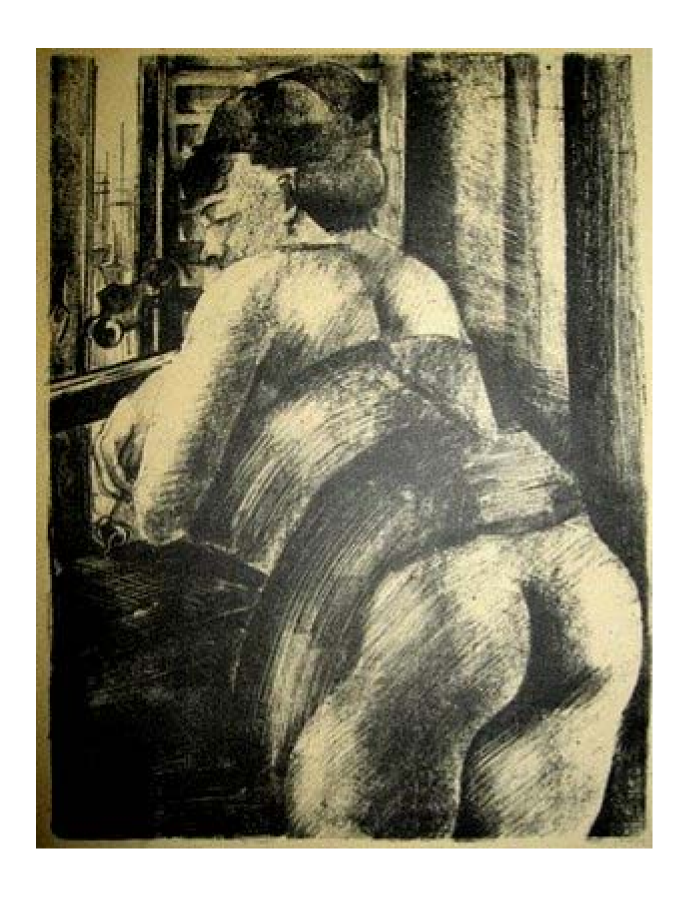
«Мой дорогой, — диктовали они нам, поглощая литр за литром (за которые никто из нас принципиально не платил), — я только и занята тем, что думаю о тебе с тех пор, как я стала твоею...»

— Барышни!—раздавался зов мамаши Шарль, и диктовка прекращалась.

Снаружи дождь лил как из ведра, гудел и завывал ветер, а мы, подле этих женщин, без умолку говоривших, рассказывавших нам о балах, где они танцевали по понедельникам, — мы ощущали какое-то сонное оцепенение, похожее на расслабленность. Было душно и

жарко от газа, горевшего под потолком и лившего в комнату резкий свет. Но не все ли равно? Мы чувствовали себя укрытыми от непогоды. Мы слушали, как журчала, стекая по улице, вода, и твердили про себя строки Франсуа Вийона, навевавшие какую-то странную, одновременно мрачную и сладостную томность.

Осмелюсь ли признаться? Ни одно место не привлекало нас так, как эта комната с ее пошлой обстановкой, диванами, веерами на стенах, дешевыми зеркалами, исчерченными надписями, фотографиями, гирляндами. Она заключала в своих стенах мир очень своеобразный и темный, который мы узнавали здесь, чтобы затем изобразить его в истинном свете. Куда же нам было идти больше? У нас не было выбора. И тут и там (я хочу сказать — в пивных и в этих странных лавках квартала) мы встретили бы ту же самую среду, с очень небольшими отличиями. Осудят ли нас за то, что мы предпочитали дом мамаши Шарль? Это меня мало интересует. Моя жизнь позади, и у меня не остается времени для сожалений и раскаяния.



Люк-Альбер Моро. *Проститутка, глядящая из окна*

Если мамаша Шарль была добра и щедра к нам, то мы тоже не оставались у нее в долгу. Помню, например, как однажды к Новому

году мы с лихвой возместили все ее траты на наши угощения. Я послал поздравление с праздником некоторым литературным знаменитостям, а их визитные карточки с выражением «искренней благодарности» и «лучших пожеланий», присланные мне в ответ, преподнес в подарок мамаше Шарль. Она была на седьмом небе от радости, украсила все зеркала своего заведения этими изящными кусочками картона, а на вопросы посетителей врала без запинки, что очень хорошо знакома с этими господами, приславшими ей поздравления к Новому году. Помню, при мне она раз распространялась о своем близком знакомстве с братьями Гонкур.

В другом доме, на улице Эшоде-Сен-Жермен, где мы тоже бывали часто и куда водили с собой Марио Менье, исповедывавшего и утешавшего девиц,— любовь к литературе и литераторам была так сильна, что мы назвали этот дом «Меркюр де-Франс»[10], а его хозяйку — Рашильд[11]. У Рашильд мы чувствовали себя как дома. Эта славная женщина даже отвела мне специальную комнату, чтобы я мог там «сочинять стихи», и, когда я забирался туда, какая-нибудь из девиц, весьма прозрачно одетая, приносила мне бокал шампанского, чтобы «помочь вдохновению». Ах, отчего я не сумел использовать этого гостеприимства для труда и размышления! Не сумел я и другое: убедить Рашильд, что труд поэта нельзя измерять количеством строк и что часто сон стоит большего, чем прилежная работа. Она не верила ни одному моему слову, и, превратившись в ее глазах из поэта в обыкновенного шалопая, я перестал ее интересовать и утратил весь свой престиж.

К счастью, Марио Менье, со своими длинными волосами, тростью с набалдашником из ляпис-лазури, со своими руками, как у епископа и большим аметистом на пальце, поддерживал в этом доме пристрастие к артистам. Он писал тогда благородную книгу, полную возвышенной философии, которую озаглавил: «У очага в обители богов», и, занятый всецело этой темой, часто обсуждал ее с хозяйкой, высказывая высокие мысли. Под его влиянием в «Меркурии» одно время беседовали исключительно о боге: и некий важный гость, посещавший дом и скрывавший свое звание под статским платьем, внезапно вообразив, что его инкогнито раскрыто и что такой разговор ведется специально ради него, перестал бывать у Рашильд.

— Ба! — бросала Рашильд. — Одного упустим, десять найдем.

И правда, сюда приходило множество народу: коммерсанты, учащиеся, арабы, буржуа, рабочие, даже один пономарь. Последний нас ужасно забавлял. Он всегда выжидал, пока «эти дамы» соберутся вокруг него, осматривал их одну за другой и спрашивал:

— Сколько?

---

[10] «Меркюр де-Франс» — литературно-художественный толстый журнал, изд. в Париже.

[11] Рашильд — писательница, одна из редакторов этого журнала.

— Да пять франков.

— Ах! — глубоко вздыхал пономарь. — Пять франков — это дорого ... У меня нет столько.

— Пойдем же!

— Нет, нет! — отказывался он, не сводя глаз с этих полуобнаженных, волновавших его, тел. — О, красотки! Красотки!.. Знаешь, они восхитительны!

— Ну, так решайся же!

— Скажи настоящую цену! — заявлял наконец вполголоса пономарь. — Хочешь два франка?

— Нет, пять.

— Три! Я решил набавить до трех ... Идет?

Но Рашильд, возмущенная, кричала:

— Убирайся ты к чорту, скряга! Марш отсюда, проваливай, слышишь?

И пономарь, только этого и ожидавший, чтобы отступить, поспешно спускался по лестнице, шагая через несколько ступенек, и выбегал на улицу.

XI

Вот на кого мы променяли Монмартр и наших монмартрских подружек, которые были скорее натурщицами и манекенами. Наши новые возлюбленные не блистали ни умом, ни фантазией.

С ними мы отдыхали от тех, монмартрских. Эти, в Латинском квартале, были не так требовательны и утомительны и, оставаясь на одном месте не долее двух-трех недель, не предъявляли на нас никаких прав. Наблюдая, как они регулярно уходят, уступая место новым, мы говорили себе, что, собственно, даже не успеваем хорошо узнать наших подруг! Они оберегали свою тайну, и иногда очень трудно было угадать, какую жизнь ведут они вне того дома, где мы с ними встречаемся. Мы же, сохраняя вид пресыщенный и скучающий, испытывали порою втайне острое любопытство.

Как же, действительно, узнать что-нибудь о жизни этих лживых созданий? Они дожидались в постели, пока пробьет два часа, зевая, вслушивались, не раздастся ли на улице гудение таксомотора, который обыкновенно за ними приезжал, и, когда оно раздавалось, одним прыжком оказывались на улице и исчезали до следующего вечера. На улице Мазарини, в подозрительном кабачке, некоторые из этих девиц, живших в гостиницах Латинского квартала, сходились со своими кавалерами в каскетках и, при встрече с кем-нибудь из нас, делали вид, что с нами не знакомы. Кавалеры же осматривали нас, посмеивались, но никогда не искали ссор. Между нами и ими стояли их дамы. Им это отлично было известно, и они всегда

были настороже, встречая неизменным презрением выражения нашей симпатии. Несмотря на это, мы обычно встречались с ними в кафе-баре «Античной Комедии», в час утренней выпивки, и даже несколько раз у мамаши Шарль чокались стаканами. Эти господа, когда они бывали только в мужской компании, без своих женщин, хотя и неохотно, но соглашались иной раз перекинуться с нами в карты.

Ах, это кафе! Там околачивался всякий сброд с улицы Бучи, темные личности, трактирщики в туфлях на босую ногу и с корзинкой для провизии в руках, продавцы всякого хлама, комиссионеры, перекупщики, жулики, барышники. Вся эта пестрая клиентура наводняла кафе с раннего утра. Сколько любопытных штрихов, сколько историй я там отметил! Это место давало мне редчайшую коллекцию типов для моих будущих произведений. Здесь в различные часы можно было встретить поэтов, бродяг, полицейских шпионов, актеров. Все это прихлебывало абсент, таинственно совещалось друг с другом и устраивало какие-то «комбинации».

В кафе Моген, в табачной, в баре на углу улицы Сены, состав посетителей был менее пестрый. Тут бывали студенты, разные «пачкуны»-художники, мелкие людишки; затем — запойные пьяницы, старухи, нищие, всегда ходившие бандами и о чем-то спорившие. Что за сравнение с кафе «Античной Комедии»! В этих трущобах вы вдыхали какую-то мерзкую сырость. Грязные стены, лоснящийся от жира прилавок, липкий пол, усеянный окурками, имели в себе очень мало привлекательного. В кафе же «Комедии» тогда все блестело, имело веселый вид, и завсегдатаи, о которых я упоминал выше, засев с полудня за свой «абонированный» столик, допускали нас к нему довольно охотно.

Об улице Бучи стоит упомянуть здесь, и не только потому, что именно ей мы обязаны многими из наших любопытных знакомств: атмосфера, царившая в этом месте, имела в себе нечто исключительное и весьма своеобразное, а среди населения его вы могли еще встретить среди бела дня живых героев Андрэ Сальмона. Мы тогда восхищались Андрэ Сальмоном. Он был знаменит. Поэт, писатель, художественный критик, он внушал нам почтение обилием талантов. Он носил костюмы в очень крупную клетку и мягкую шляпу, торчавшую у него на самой макушке головы. Никто так не одевался в Париже. Костюмы Андрэ Сальмона составляли его эстетический багаж, его программу, его замечательную особенность, и, рядом с Полем Фором, который всегда одевался в черное, костюмы Андрэ Сальмона были как бы протестом новых и совершенно неслыханных дотоле рифм против теории стихосложения. Это обращало на себя всеобщее внимание. Сальмон в барах Латинского квартала делал рекламу своим стихам необычным видом и поведением, и все, что он говорил или делал, моментально разносилось по кварталу.

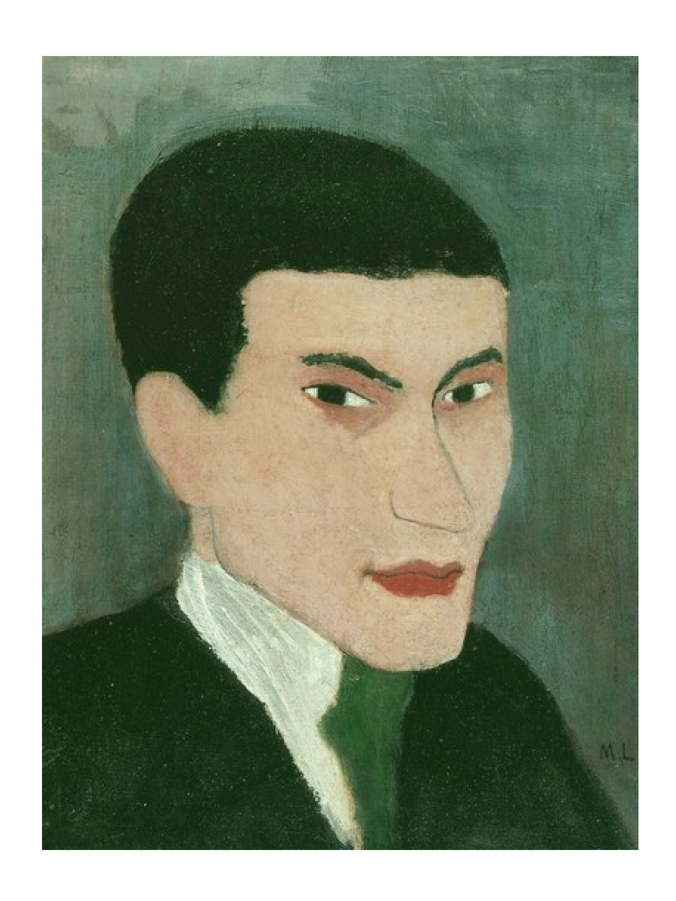
Не повторяли ли мы наизусть на том самом месте у Нового моста, где поэт сочинил их, эти стихи из «Calumet»:

Мы шли домой, твердя стихи,
Крича похабные рефрены,
И на скамейке у реки
Мы любовались спящей Сеной.

Над нами витал дух Мореаса, который своих любимых учеников всегда водил в «Центральные рынки». Сальмон посвятил ему следующие строки в своих «Féeries»:

Узнаю старость я и с ней судьбу поэта,
Что пальмовых ветвей[12] утратил идеал, —
И станет слаб мой перст, а голос без ответа;
Но все я буду горд, что вас когда-то знал.

И мы еще больше любили его за это.



Мари Лорансен. *Портрет Андре Сальмона*

[12] Пальмовая ветвь – атрибут французской Академии.

Да, все мы в душе были прежде всего поэтами, и поэзия была у нас на первом плане. Что нам было за дело до материальных забот! Они, кажется, только еще обостряли то глубокое инстинктивное чувство, которое нас влекло к Мореасу или к Полю Фору и заставляло нас восхищаться ими. Но не будем забегать вперед. Я еще вернусь к «королю поэтов» и к его вторникам в Closerie des Lilas[13]. Пока же останемся на улице Бучи, среди ее причудливого и шумного беспорядка, — на улице Бучи, где пьяницы призывали нас в свидетели своих напастей, а игроки выражали готовность посвятить нас в тайны своего ремесла. Как-то вечером в баре негритянка, слышавшая наш разговор о театре «Старой голубятни», подошла к нам и сказала:

— Лучше не ходите туда. Это для святош-протестантов.

Кто была эта негритянка? Она пьянствовала здесь в компании молодой особы в красном трико, которая была известна под кличкой «Пепе-Пантера» и болталась по балам. У Бускателя, у старого папаши Люнет на улице Кармелиток, на улице св. Женевьевы — всюду ее можно было встретить. Она несомненно имела некоторое отношение к новой живописи и любила, сидя перед налитым в соусник горячим вином, петь куплеты, сочиненные Сальмоном:

Когда она пришла в Боз'Ар,
Желая развивать свой дар
И брать уроки акварели,
Хотелось ей цветы писать,
И, чтобы красок ей достать,
Мои картины «полетели».

Странное существо была эта Пепе-Пантера, издевавшаяся над мужчинами и уверявшая, что она — свободная женщина. Пела она хорошо, и куплет следовал за куплетом:

Ах, как она была мила,
Когда писала, как могла,
Деревья самой черной краской!
Она хвалила мне Каро,
И я забросил Пикассо,
Чтобы ее добиться ласки!

— Браво! Браво, Пепе! Негритянка подхватывала:

Но вскоре множество коллег
Ей помогли забыть навек,
Что есть супружеская стойкость.
Юнец из ателье Кормон

[13] Closerie des Lilas – известное кафе литераторов на Монпарнасе, завсегдатаем которого был Поль Фор.

Увез красотку в Барбизон
На утро за ночной попойкой.

И, наконец, обе они — Пепе и негритянка, сливали свои голоса в последнем куплете этой своеобразной песенки:

И вот теперь я вдов, один
Живу без денег и картин,
Страдаю нищий от позора.
И на обед остались мне
Две «краски», купленных жене,
Из «безопасного набора»!

Гром аплодисментов потрясал стены зала. Обе певицы кланялись, глотали свое теплое вино, затем, в объятиях кавалеров в каскетках, с которыми они были на «ты», танцовали «Яву».

Имя и судьба негритянки так и остались нам неизвестны. Пепе же перед началом войны была убита на бульваре Бомарше, вероятно, одним из этих самых танцоров, пытавшимся вернуть ее на путь истинный, но потерявшим напрасно время и отчаявшимся в своих тайных надеждах.

Бедняжка Пепе! Так и вижу ее в ее коротенькой юбке, лакированных башмачках, с этим хорошеньким личиком, в ореоле светлых волос. Ее несчастье состояло в том, что она не желала быть в зависимости от кого бы то ни было из этих мужчин. Она подавала плохой пример остальным женщинам и вызывала злобу. Она была слишком весела, падка на развлечения, слишком беззаботна и непохожа на других — и я долго помнил, с каким чувством удовлетворения некоторые женщины в баре, прочитав о ее смерти в газетах, восклицали:

— Этого следовало ожидать!

Да, Пепе убили — и ее отсутствие не образовало никакой пустоты ни на улице Бучи, ни на балах, и никто не заметил этого отсутствия, кроме нас, которые видели в Пепе славного товарища и были к ней искренно привязаны. Среди этих механических кукол с улицы Принца она резко выделялась всеми своими повадками. Позже мы слышали, будто несчастная девушка связалась с шайкой фальшивомонетчиков из Люксембурга и имела неосторожность сболтнуть лишнее насчет своих товарищей, за что и была убита.

В то время эта знаменитая шайка уже была в тюрьме, но нам еще случалось в некоторых кабачках сталкиваться по ночам с таинственными субъектами, предлагавшими нам пять луидоров за восемьдесят франков.

— Семьдесят, — быстро сбавляли они, чтобы соблазнить нас. — Ну, что же, не хочешь?

— А ты думаешь — хочу?

У этих субъектов карманы были набиты спичечными коробками, и в каждой из коробок было по пяти луи. И стоило кому-нибудь из нас сделать вид, что он хочет зажечь свою трубку, как эти коробочки моментально появлялись из кармана и предлагались нам.

Некий князь, которого я не назову (он умер смертью храбрых на войне), был вечно жертвой этих приставаний. Где бы он ни появлялся, его смуглое лицо и шапка курчавых волос привлекали моментально к столу хорошо его знавших сбытчиков фальшивой монеты. Они приходили в его отель, преследовали его, не давали ему покоя, пока в конце концов за какую-то невероятную сумму не сбывали ему свой товар. Князь, конечно, бросал эти опасные деньги в клозет и возвращался домой с пустыми карманами. Однажды ночью нищий попросил у него милостыню.

— Нет ничего, — отвечал пьяный князь. — Проходи!

— Ну, хоть десять су... не скупитесь! — хныкал нищий.

— Да не могу же, тебе говорят!

— Отчего?

— Оттого, что меня обчистили... Смотри! — и, выворотив карманы, князь показал, что там ничего не было, кроме крошек хлеба и табака, носового платка, связки ключей... и, — о, несчастье — одной из этих проклятых спичечных коробок, которая, упав на тротуар, открылась, и оттуда выкатились золотые монеты.

— Ого! —вскрикнул нищий.

Князь кинулся, схватил коробку, но бедняк предупредил его и пустился с нею наутек.

— Держите! — кричал князь. — Остановите его! Держите!

Он поспешно погнался за вором, но тут появились агенты, привлеченные криком. Они поймали нарушителей порядка и отвели обоих в участок. Когда кто-то грубо тряхнул вора за шиворот, один из луидоров упал и разломался на куски. Эти «луидоры» были из какой-то хрупкой, стекловидной массы. Князь, разумеется, был арестован.

Вероятно, по этой-то причине, на улице Бучи, если кто платил хозяину бара золотой монетой, последний извлекал из ящика гигантский молоток и ударял по луидору. Предосторожность совершенно необходимая: от таких клиентов всего можно было ожидать. Да и поэты были не лучше других: мы имели обыкновение держаться поближе к двери, подстерегая удобный момент, чтобы удрать, не заплатив. Самым любопытным персонажем на этой любопытной улице был, несомненно, наш приятель Клодьен, о котором я уже упоминал. Он жил в отеле Жанны д'Арк. Клодьен, по лености или из чувства порядочности, не принимал участия в наших попытках избежать уплаты каких- нибудь трех су за стакан вина. Он обыкновенно приказывал все записать на свой счет и, всегда олимпийски спокойный, отправлялся слоняться по кварталу в поисках приключений. Подружившись с князем, которому он помог оправ-

даться перед полицией в истории с луидором, он часто по утрам прогуливался со своим знатным приятелем. А еще чаще — с Марио Менье и со мною. Его монокль приводил в изумление девиц в дешевых кабачках. Его разговор их интриговал, ошеломлял; даже милейший Марио — и тот, после обильной выпивки, не раз принимал Клодьена за сатану в человеческом образе. Уже самый этот псевдоним казался чем-то подозрительным. «Клодьен? Что это — имя или фамилия? Кто же он?» — спрашивал себя Марио в тоске и беспокойстве и цеплялся за мой рукав, поверяя мне шопотом свои подозрения:

— Да это дьявол ... Дьявол!

Кто знавал Клодьена, тому понятно будет, почему он производил такое впечатление на пьяного Марио. Его бесстрастное спокойствие, какая-то ленивая небрежность, что-то чуждое, непонятное, далекое в странном взгляде его желтых блестящих глаз делали его непохожим на других. Он держался очень прямо, немного раскачивался на ходу, а его борода, как и глаза, в темноте светилась странным фосфоресцирующим светом, что производило жуткое впечатление. У Клодьена, обычно сдержанного, бывали внезапные припадки ярости, — но мы напрасно пытались узнать их причину. Если он и не был дьяволом, то, во всяком случае, после полуночи казался одним из его сподручных, до такой степени он ошеломлял, смущал всех нас. Девицы, которых он был тонкий ценитель, испытывали в его обществе настоящий ужас. Тем не менее все они по утрам после беспутной ночи искали приюта в его комнате. Самые испорченные — наряду с самыми невинными. Они вбегали по лестнице, толкали дверь и, не говоря ни слова, валились на его кровать, или, если она бывала уже занята, прямо на пол, как попало, и засыпали.

Кто не видел Клодьена раздетого, в своей комнате, окруженного этими бледными созданиями, из которых некоторые прибегали сюда только что из тюрьмы, или спасаясь от преследования любовников или полиции, — тот ничего не видел! Он не утешал и не жалел их. Напротив, они жаловались, что он относился чересчур хладнокровно ко всем их невзгодам. Ему доставляло жестокое удовольствие мучить их вопросами. Он в такой же мере обладал способностью привлекать к себе людей, как и отталкивать и внушать беспокойство. Но никогда обе эти способности не проявлялись одновременно. Если днем он внушал своим жалким подругам болезненный ужас, то ночью те же девушки испытывали к нему нежность, какой нет названия. Я ничего не сочиняю, право. Неприступный для случайных знакомых, автор «Лабиринтов» по отношению к нескольким друзьям оставался всегда самым прямодушным и самым верным из людей. Но откуда брались этот пронизывающий голос, эти крики, эти размеренные восторги? Одна картина особенно всегда волновала Клодьена и вызывала его энтузиазм: на бульваре де-Ла-Шаттель, за решеткой, мрачный, крытый стеклом перрон

Северного вокзала, уходящие вдаль рельсы, густой дым паровозов, сигнальные огни, синие, белые, зеленые и красные, — все это как-то трагически гармонировало друг с другом. Гулкие своды метрополитэна заглушали слова Клодьена и заставляли его повышать голос до крика. Так, в крике, он изливал то чувство горького упоения, какое рождалось в его душе перед этой полной движения и вместе пустынности картиной. И нас тянула к себе эта бездна с ее блестящими, убегающими вдаль рельсами, белыми клубами пара, бесчисленными огнями. Неподвижные внимали мы Клодьену — и малопомалу его настроение нас всецело захватывало. Это было похоже на сильное головокружение. В этом месте Клодьен создал лучшие, наиболее волнующие свои страницы. В них скрытый жар, не исступленный, не пылкий, а медленный, ровный как пламя ада, неумолимо иссушающий сердце. Кто не знает этих страниц, не может меня понять. Читали ли вы, например, в «Лабиринтах» поэму, начинающуюся словами:

«В этой маленькой комнате, в которой каменный уголь за решеткой распространяет сухой жар, он почти все дни одиноко грезит о пытках. Он погружается в свою мечту, снова и снова переживает свои желания, которые, как ему кажется, родственны этому черному пламени и удушливому запаху пылающего угля...».

И дальше — полное отчаяния признание:

«Так он создавал себе воображаемый мир, полный туманности, мир, центром, которого был он сам, корни же — в том злом инстинкте, который жил в его душе, взрощенный, может быть, в молчании мрачным и смрадным огнем, единственным товарищем его уединения».

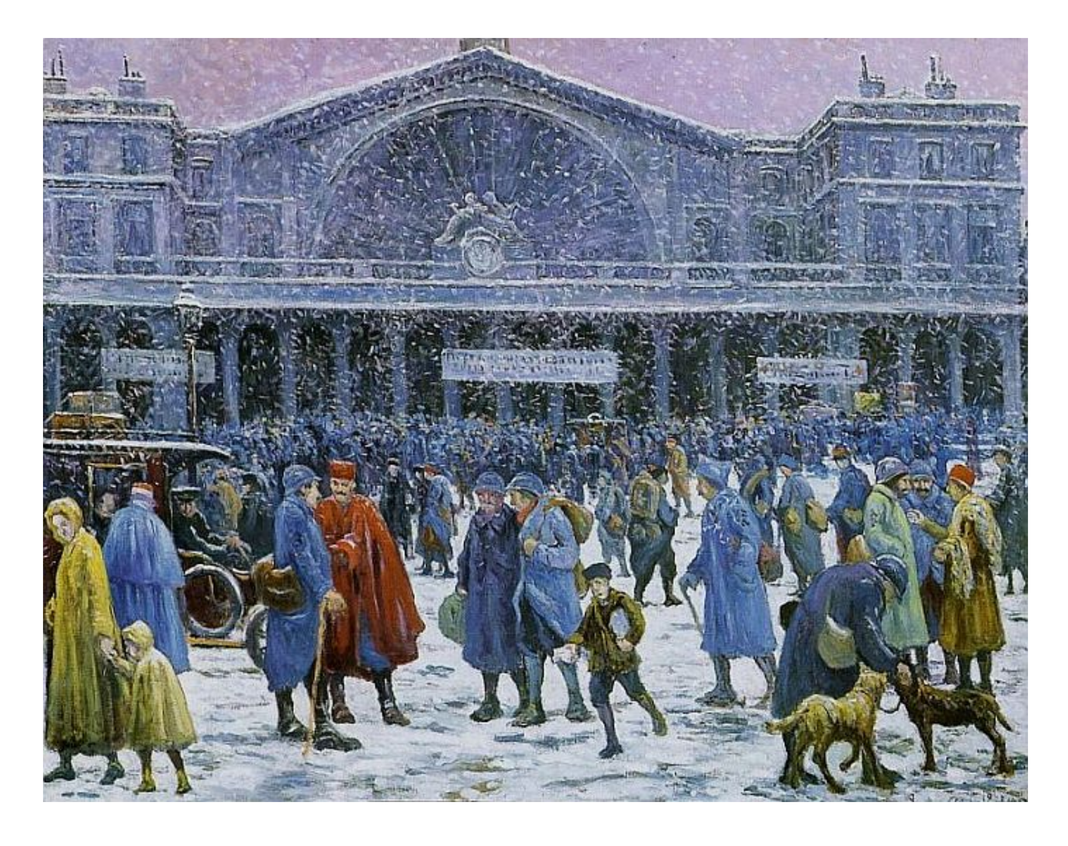
Огонь. Всегда огонь. Какое болезненное пристрастие! Оно его, должно быть, втайне мучило, в этой тихой комнатке, где я его видел лежащим на моем диване. То была моя собственная комната на улице Висконти. Я уступил ему эту комнату, когда мысль о самоубийстве, преследовавшая меня в ее стенах, стала уж очень неотвязной.

Комната эта была в полуподвальном этаже, где некогда были службы старого дома и куда вел сырой узкий коридор. Соседями моими справа были два полицейских агента, посменно дежуривших у себя на службе, слева же — умирала очень древняя старушка-служанка. Я постоянно слышал сквозь стену сопение и храп одного из агентов и скрип колес по паркету, когда больная старушка передвигалась в своем кресле по комнате. Ни один звук не проникал сюда с улицы, стиснутой между серыми домами, из которых один принадлежал когда-то Расину, а другой вмещал известную книгопечатню Бальзака. Ни шума, ни движения. Редко-редко когда медленным шагом проедет экипаж, запряженный одной лошадью... А вечером единственным живым существом, появлявшимся на улице, был человек, зажигавший фонари, да еще, пожалуй, веселый барон Максен.

Но зато барон — тот частенько подымал такой шум, что вызывал возмущение всей улицы.

XII

Поймет ли читающий мои воспоминания, что в способствовавшей этому среде, в атмосфере той липкой сырости, которая является сестрой нищеты, мы переживали удивительные, фантастические дни? На левом берегу Сены еще сильнее, чем на Монмартре, владела нами иллюзия, что мы живем в большом приморском городе. Подозрительные, шумные кофейни, угловые здания с острыми фасадами, похожими на носы кораблей, всякий людской сброд на улицах, публичные дома и туманы. Ветер доносил к нам иногда пронзительный вой настоящей сирены и дыхание Сены, расслабляющее, тошнотворно-сладковатое. На Монмартре же свист поездов, доносившийся от двух вокзалов — Восточного и Северного, будил в душе какое-то тяжелое предчувствие и мешал нашему безмятежному веселью.



Максимильен Люс. *Восточный вокзал в снегу*

Улица Ласточки, где был кабачок Гюбера «Ла Боле» — копия «Кролика», давала больше нового, неизведанного. Посетителями

этого кабачка были анархисты, праздношатающиеся, студенты, сочинители песен, разные темные плуты, профессиональные нищенки, мальчишки-посыльные... Вся эта публика угощалась здесь за очень дешевую плату, и, если «Кролик», по сравнению Мак-Орлана, напоминал «станционный зал 1 класса», то здесь был зал Ш класса с разбросанными всюду жирными бумагами, колбасой и сидром на прилавке. Выбеленные известкой стены, вдоль них — бочки, скамьи, колченогие столы и табуретки,— вот обстановка этих мест. В двух шагах от Сены, к которой вел узкий и зловонный проход, против заведения милейшего Гюбера гостеприимно открывал свои двери один из тех вертепов, где разный сброд обжирается и опивается по ночам. Там чувствовали себя как дома какие-то бледнолицые субъекты, бродячие девицы, поэты и тот подозрительный старичок, которого какая-то распутница отвратительно изуродовала, чтобы наказать за грех. В этом кабаке держали ягненка, который постоянно бродил по залу, подбирая окурки; его кормили опилками, и он не пренебрегал водкой; там же водилось несколько охотничьих собак, истощенных и унылых. А у Гюбера — чего только нельзя было увидеть! Он велел выгравировать на камне, на стене, список своих бывших и настоящих клиентов. И американцы, часто приходившие сюда в сопровождении гида, могли прочитать под надписью: «Ici se sont assis» имена всех тех, посещением которых гордился хозяин. В этом списке, наряду с братьями Таро, Жаком Диесором и другими, фигурировало и мое имя, помещенное между Франсуа Вийоном и Жаном Лоррен. Вот какую честь мне оказал Гюбер! Он любил поэтов, всегда оставлял для них местечко за столом и даже услужливо давал им деньги в долг. Крупный, плотный, широкоплечий, еще молодой, этот симпатичный человек был нами прозван «Гюбером Великодушным». Он чрезвычайно почитал современную французскую литературу и гордился вниманием к себе ее представителей. Если какой-нибудь неизвестный ему посетитель усаживался близко от нашего стола, Гюбер поспешно прятал маленькую грифельную доску, на которой обыкновенно записывались мелом наши долги.

— Кто его знает? — замечал он при этом: — а вдруг это какой-нибудь-критик! Достаточно одной заметки в газете, чтобы погубить вашу репутацию!

Нелюбовь его к критике была нам на руку в этих случаях; чтобы спасти нас от таковой, он стирал наши счета с доски — и больше о них не было и речи.

Жак Диссор, который ввел меня к Гюберу, очень ценил этого замечательного кабатчика в огромном картузе и в блузе, какие носят огородники. Он даже посвятил Гюберу следующее стихотворение:

«Стихи, имеющие целью прославить пречестной кабачок “Полной Чаши”, что на улице Ласточки, подле улицы “Где возлежит сердце”, а также воздать хвалу его доброму хозяину».

О, вы, воспитанные мачехой Сорбонной,
Чей череп гол, чьи груди — пустыри,
Вы, кто влюблен в Таис, а спит с служанкой сонной,
Вы, продувные школяры,

Вы, мастера в искусстве очень тонком
(Но столь же и обманчивом, увы!)
Подтасовать очко иль подменить картенку
Ценою буйной головы!

Великие сердца Верлена и Вийона
Лежат на улице «Где сердце возлежит».
Придите же сюда, в парче или без оной,
Одетые в рассрочку иль в кредит.

И тот, кто цвета «жоффр» мундир и брюки носит,
Бесстрашный «пуалю» пускай сюда придет! —
Здесь вкруговую пьют, и сам Гюбер подносит,
А завтра будет твой черед!

На бочках развалясь, хлещите сидр отличный,
Его не окрестил водой Гюбер-язычник.
А сам он жар своей луженой глотки
Смиряет только яблочною водкой.

Здесь толстозадая, с мясистыми грудями
Шальная девка бродит в час ночной;
Здесь роковая дама с жемчугами
С ума вас не сведет, как в песенке иной.

Сама Мими Пенсон[14], последняя Мими,
Что Милланди воспел в чувствительном романсе,
Поет здесь иногда, и вспоминаем мы
Ушедшей Франции старинные кадансы.

---

[14] Мими Пенсон – гризетка, воспетая Мюссэ.

Отец Гюбер — хозяин здешних мест.
Ложится поздно он, встает он очень рано,
Философ он теперь, а был вояка рьяный;
Случается, курятинку он ест.

Пускай же в милости господь к нему склонится,
А также богородица — «Всё напоказ»!
Пускай между солонкою и банкою с горчицей
Он долго здравствует для нас!

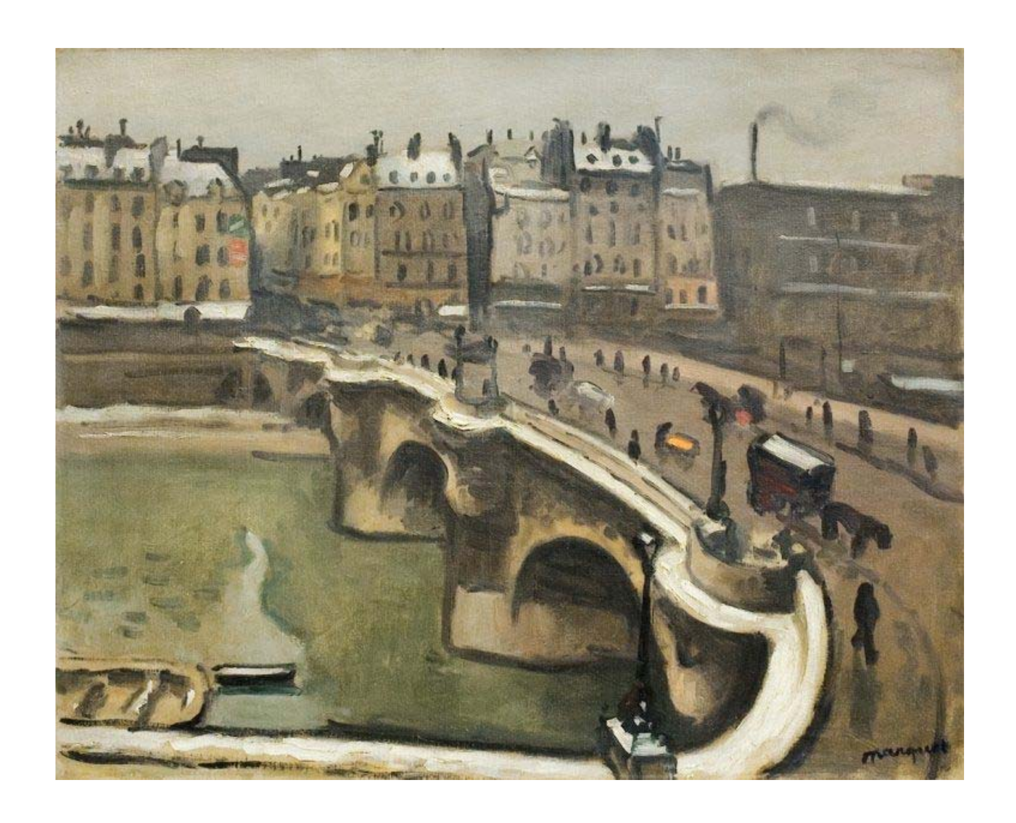
Эти, написанные в сентябре 1915 года, стихи были данью нашей дружбы славному, честному Гюберу, и он был так польщен и тронут, что даже наклеил их на деревянную доску и повесил на видном месте. Но, увы! Не разбогатеешь от торговли, когда покупатели платят стихами! И бедняга Гюбер одно время, не желая закрывать свой кабачок или лишать кредита артистов, после полночи тайно оставлял свою трущобу и отправлялся работать на выгрузку товаров в рынках. Там он зарабатывал для себя, да кстати и для нас, дневное пропитание, не говоря об этом никому, и на утро мы находили его таким же веселым и гостеприимным, со стаканом в руке.

Люди были несправедливы к Гюберу: его принимали за обыкновенного шутника и весельчака, тогда как он был прежде всего истинным филантропом, человеком, очень любившим жизнь и людей. Он ради нас входил в долги, всегда готов был поделиться похлебкой с бедняками, угощал их по-княжески; а если какой-нибудь из них упрямо отказывался, то Гюбер, искренно удивляясь, давал ему сорок су, чтобы он мог пообедать в заведении напротив.

Там, среди атмосферы низкого распутства, под потолком, с которого сочилась вода, посетители проводили часы в «общем зале», единственной комнате заведения. Туда вела тяжелая дверь прямо с улицы, всегда гостеприимно открытая. Над нею возвышался железный фонарь, очень причудливого вида, разливавший вокруг розовый свет. Женщины, кашляя, запахивая свои пеньюары и ежась от холода, поджидали у этой двери моряков, мелких чиновников, разных подозрительных субъектов, готовых угостить их белым вином. Надо было держать ухо востро, чтобы уберечь свои карманы ночью в этом ужасном месте! Уже с порога вас начинала зазывать и тянуть за рукав какая-нибудь матрона... И не раз, прикованные к месту изумлением, мы были свидетелями зрелищ таких мучительных, что они нас потом преследовали и во сне и наяву. У стойки человек эстетического вида, в очках, бледный, худой как скелет, декламировал с натугой, пронзительным голосом.

В этом проклятом месте имелась собака, большой Нью-Фаундленд. И какие-то загадочные джентльмены угощали ее водкой. Со-

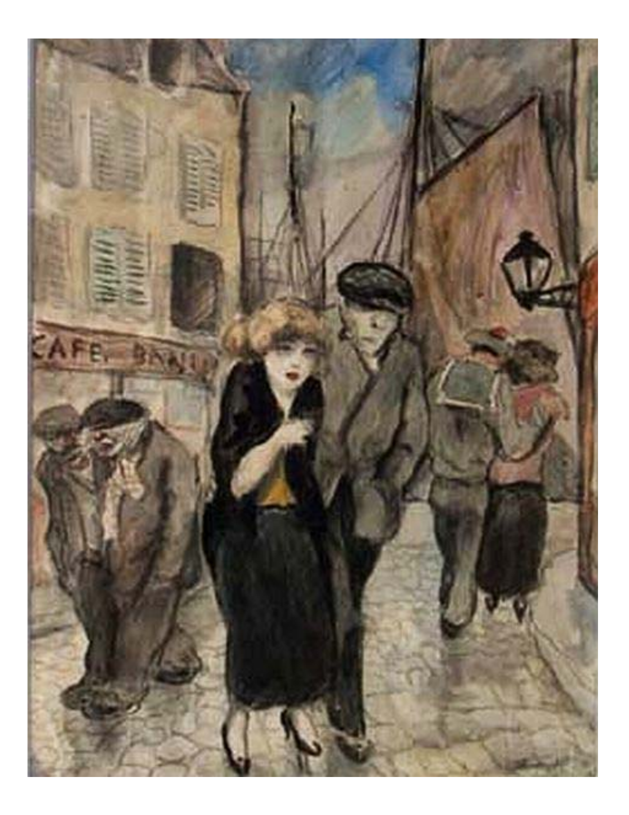
бака пила. Никогда не забыть мне впечатления от этого зала с его сырыми и липкими перегородками, этих равнодушных, накрашенных женщин, этого пса, этих словно проказой изъеденных зеркал, тусклых и исчерченных. Часто мы уходили оттуда с ощущением леденящей жути. Если существуют где-нибудь, в портовых городах какой-нибудь части света, места еще более отвратительные, чем эти кварталы, посвященные разврату, кварталы, где можно видеть изнанку человеческой жизни во всем ее разнообразии, — я хотел бы знать, где они? Я хотел бы узнать их, чтобы сравнить с улицей Ласточки. Потому что, мне кажется, я не преувеличу, сказавши, что вряд ли какое-нибудь из этих мест может превзойти мерзостью те кварталы, что прилегают к Сене и тянутся вокруг улицы Мазарини.



Альбер Марке. *Вид на Новый мост*

В особенности в зимние вечера, когда дует ветер и несет с собою дождь, смешанный со снегом, и навстречу ему звучат резкие свистки буксиров, не надо было долго бродить по улицам, чтобы натолкнуться на приключение. Оно ожидало вас здесь во всех этих лавчонках и кабаках. Вблизи полицейского поста на улице Юшет, там, где сквозь узкий пролет видны вдали вздымающиеся и покачивающиеся на воде мачты и дымок над ними, — двери некоторых притонов всегда бывали таинственно приоткрыты. Кто бывал в этих

местах, на всю жизнь сохранил жутко-тяжелое впечатление. Там, в свете газа, среди убогой роскоши, гирлянд, кукол, за тусклыми стеклами высоких окон, мелькали тени; девушки, одетые в кимоно, причесанные на китайский манер, теснились вокруг пивших мужчин. Толстухи-служанки, мулатки, девчонки из Бельвиля или Вожирара, старые женщины — все делали вам знаки, манили вас к себе — кто от окон с цветными занавесями, кто от ларьков и шкапчиков, превращенных в буфеты; и их «псст!», казалось, гналось за вами по пустынным улицам, преследовало вас во сне, как призыв к невозможной, ужасной любви.




Фред Пайле.
Ночная сценка

В довоенные годы можно было насчитать десятка два таких притонов, не говоря уже о гостиницах, о комнатах, где девицы, прижав нос к стеклу, подстерегали прохожих. В центре улицы, подле комиссариата с его вылинявшим от дождя флагом, находилась «танцулька», рекламировавшая себя в качестве «семейной», и мы ходили туда танцевать. Когда я приходил туда с Клодьеном и Марио Менье, хозяин, м-сье Бускатель, принимал нас весьма торжественно и, чтобы доставить нам удовольствие, хватался за свою волынку. Играл он, действительно, мастерски. Под жалобные звуки этого инструмента пары, обнявшись, кружились в танце. Мы не отрывали от них глаз, захваченные гнусавой мелодией «явы», и, постепенно заражаясь этим особым видом опьянения, спешили уйти, успев обменяться тысячью любезностей с хозяином. Это были спокойные,

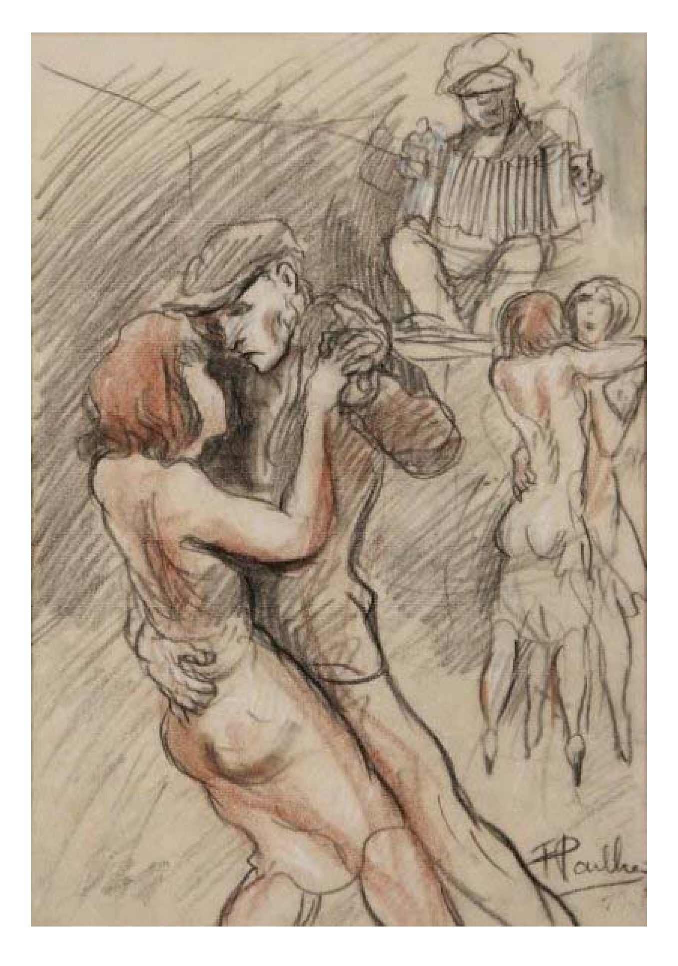
тихие балы. Посещали их большей частью скромные работницы, мелкие служащие, солдаты, коммивояжеры. Как непохожа была эта атмосфера спокойного благодушия на то, что делалось в соседних «танцульках»! Там парочки, давно, что называется, «спевшиеся», тискали друг друга с чисто звериной исступленностью и, когда вы проходили, дарили вас взглядом, полным презрения. Здесь же, у Бускателя, — танцорки, скромно опустив ресницы, отдавались удовольствию танца. Они отличались хорошими манерами, и ни разу нам не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь поднял из-за них шум.



Эли-Анатоль Павиль. *Танцевальный зал*

Но эти балы, столь мирные, привлекали нас мало. Мы предпочитали кабачок на улице Кармелиток. Здесь, в комнате за буфетом, где было накурено и душно, поминутно, из-за всякого пустяка, из-за глупых вспышек ревности или соперничества, готова была вспыхнуть и разгореться ссора. Скудное и мрачное освещение, залитые красным вином столики придавали этим кабацким пирушкам какой-то красочный колорит, и, когда раздавались первые выкрики и громогласный аккордеон начинал играть размеренную мелодию известного вальса, — мы чувствовали себя увлеченными и захваченными.

Самая знаменитая из «танцулек» находилась на улице Горы св. Женевьевы, напротив маленькой молочной, где я когда-то имел обыкновение завтракать. Хозяином этой «танцульки» был некто Вашье. Вы попадали сначала в зал, где за буфетной стойкой царил сам хозяин, который, оглядывая с этого наблюдательного пункта всех входящих мужчин и дам, разрешал или не разрешал им, по своему



Фред Пайле.
Танцулька

усмотрению, проходить дальше. Пропускались лишь хорошо одетые. У узкого прохода, который вел в «святая святых», висел плакат, возвещавший огромными печатными буквами, каллиграфически выведенными, что «необходимо являться в приличном виде». И я должен сказать, что Вашье-отец умел заставить уважать свои требования. Сын его, Мило, тогда играл среди музыкантов на маленькой эстраде в «зале» отца. Это был настоящий артист. Из аккордеона он извлекал такие звуки, что все женщины млели и уверяли, что «умирают» от любви. Привинченные к полу столы и скамьи тянулись вдоль стен этой залы, оставляя пустым блестящий паркет посередине. Меж двух колонн, на проволоке, висел второй плакат, устанавливающий правила поведения. Бывали тут ночи, когда все,

казалось, шло по строгому регламенту, — но бывало и иначе: раньше, чем это можно было предупредить, револьверы начинали стрелять «сами собой», и тогда все мы — мужчины и женщины — вынуждены были искать убежища под столами. Но кто именно стрелял, оставалось тайной «зала». Все же непосвященные в тайну боязливо наблюдали эти неожиданно вспыхивавшие ожесточенные схватки, кончавшиеся кровопролитием.

* *
*

Отчего, когда я пишу эти строки, меня обступают воспоминания о моем друге Жане Пеллерен? Он не посещал с нами притонов; они ему внушали ужас. Но, как-то помимо, воли, я на улице Горы св. Женевьевы уносился мыслью в Гренобль, где любимыми моими местами были пивные с женской прислугой на улице Сен-Жак. На этой самой улице, над «Критерионом», жил Жан Пеллерен. Мрачный коридор вел к темной лестнице. Я взбирался по ней в полном мраке, ощупывая руками стену, затем открывалась дверь, сразу все освещалось, и Жан Пеллерен, высоко подняв лампу, радостно меня приветствовал.

В те времена это был молодой человек в форме письмоводителя полкового штаба, рослый, но худой. Садясь, он всегда закидывал одну из своих худых ног на другую, словно конфузясь, что они такие длинные. Он смотрел вам при этом всегда прямо в лицо, улыбался, закуривал папиросу. Он, кажется, одобрял в своей особе только руки — и даже немного ими кокетничал. Они у него, действительно, были очень красивы: тонкие, изящные, изумительно опрятные и выхоленные, несмотря на его работу письмоводителя, требовавшую постоянного бумагомарания. Почерк Жана был чрезвычайно выразителен: вы узнавали в нем его самого, этот почерк словно оттенял характерные свойства человека, которому он принадлежал. И, когда я теперь читаю его «Бесполезный букет», изданный уже после его смерти, мне всегда почему-то вспоминается этот крупный, ясный, несколько размашистый почерк, когда я дохожу до стихов:

Полный дрожи утренний час...
Звон колокола тает.
Мечта погибла... Свет угас ...
И лампа умирает ...

Увы! Эти молодые руки, которые тогда (даже и в 1909 году) писали только служебные отчеты и ведомости, навсегда успокоились в

могиле. Не будут они более набрасывать, строка за строкой, те полные ясной прозрачности стихи, которым их автор, как никто другой, умел придать музыкальный ритм, доведенный до совершенства! Даже коротенькие его стихотворения, старательно переписанные в тоненькую ученическую тетрадку, обнаруживают большую любовь Жана к своему искусству и исключительные его познания в этой области. Мы с ним показывали друг другу первые наши опыты. Мы набрасывали грандиозные планы будущих произведений. Каждого из нас радовало, каждый был горд, если мог показать другу новые свои стихи, сообщить о книге, которой тот не читал, или о какой-нибудь истории, которой тот не слыхал еще. Чудное время, несмотря на казармы, где мне приходилось «играть в солдаты», несмотря на все трудности, какие приходилось преодолевать для того, чтобы наши стихи были напечатаны! Эти трудности заставили нас решиться самим основать журнал. Помню, Пеллерен приносил мне первые оттиски в тюрьму артиллерийского полка, где я чувствовал себя совсем неплохо.

«Я его видела там, — рассказывает в «Диване» загадочная Ева Арриги, хорошая знакомая Жана.—Я каждый день приходила в казарму, где Франсис Карко отбывал свое наказание. У него там не было недостатка в посетителях. И, если приемная узников 2-го артиллерийского мало походила на комфортабельную гостиную, то зато сколько там перебывало друзей, и сколько они проявляли заботливости и рвения! Туда приходил, принося книги и папиросы, славный поэт Морис Морель, красавица Паола Л., Жан Пеллерен, какая-то барышня с пышными формами, которую называли Лили, и множество других преданных людей. Наш молодец за решеткой имел очень веселый и бодрый вид: смеялся, декламировал стихи. Никогда я не видела его в унынии. Ни разу не пожалел он о своей выходке, ни одной жалобы я от него не слышала. Что за милые были эти беседы сквозь решетку, ограниченные, к сожалению, суровыми представителями власти! По освобождении его из тюрьмы, Карко был выслан в Бриансон».

Однако возвратимся к нашему знаменитому журналу, называвшемуся «Листочки». Вышел только один номер — и теперь этот номер очень трудно найти.

Позднее, когда Жан Пеллерен приехал в Париж и поселился сначала на улице Реомюр, а потом перебрался поближе к Монмартру, в квартиру, всю меблировку которой составляли кровать, стол, три стула, качалка и бесчисленное количество ящиков с книгами,— мы снова с ним встретились. Он остался тот же. Писал простые, легкие стихи, в которых отражалась вся его беззаботная, не прельщавшаяся суетным успехом душа, его готовность посмеяться над самим собой, милая игра его прихотливой фантазии.

Не выдаю себя я за Мюссэ, —

заявлял он.

Пишу стихи и прозу, как и все.
Сушу в своем шкафу романа половину...
Но что мне в вас, о, дщери Мнемозины!
Слова, одни слова диктуете вы мне!
Прескучная игра!

Этой иронии суждено было скоро принять тон менее веселый. При более близком соприкосновении с жизнью, вынужденный, как и другие, бороться за кусок хлеба, поэт скоро узнал, что в мире одной любовью к прекрасным стихам не проживешь. Жан Пеллерен сумел приспособиться к обстоятельствам. Перо его уже не выуживало из чернильницы дерзкую рифму. Теперь оно неутомимо писало статьи, заметки, интервью, рассказы для журналов и вечерних «листков», потому что за эти вещи платили. Это отнимало все его время, но я знал, что после полуночи блестящий «хроникер» забывал о лаврах редакций, чтобы предаться вновь своей страсти к стихам.

Да и не могло быть иначе. Жан Пеллерен был прежде всего поэт и жил только для поэзии. Как часто я заставал его перечитывающим Бодлера, Верлена, Малларме, Рембо, Лотреамона, Герена, Аполлинэра, Жан-Марка Бернара, Туле, Алляра, Тристана Дерема! Он посылал свои стихотворения в маленькие журналы, никому никогда не говорил о том, что он их пишет, и тайно лелеял замысел собрать в одном томе все эти изысканные, полные разочарования стансы, которыми восхищался не я один.

Увы, Жану Пеллерен не пришлось при жизни увидеть эту книгу, о которой он так мечтал, над которой столько трудился!

«La Romance du Retour» заключает в себе только одно стихотворение, одну прелестную, одну душераздирающую поэму. Все другие стихотворения, разбросанные по разным мелким изданиям, ожидали, пока они будут собраны в одну книгу. Чего Жан Пеллерен не мог сделать при жизни, — сделала его смерть. Только когда он умер, я осуществил наконец его мечту и познакомил широкую публику с произведениями, которые он нам оставил. Они не утратят никогда своего очарования благодаря яркости и пестроте красок, языку гордому и нежному. Это — не парадный и пышный букет, собранный в буржуазном цветнике, а один из тех букетов, что покупают осиротевшие товарищи у ворот кладбища, чтобы положить на могилу, перед которой они стоят с обнаженной головой. Стихи Жана Пеллерен, хотя и блестящие и изысканные, напоминают эти скромные цветы. Кто эти стихи читал, — их никогда не забудет. В них — мелодия его молодости, молодости, отравленной одиночеством и лишениями, молодости всегда живой, даже когда он доходит до послед-

него предела отчаяния, обозревая то, что после долгих лет осталось от любви и измен.

Это он, а не я, писал:

Сегодня я вернусь домой
И позвоню. И снова —
Такой же звон, и дом такой...
Но только нет былого!

О, если бы он мог вернуться! Как был бы он растроган, услышав, сколько людей знает его имя и любит его стихи!

XIII

Итак, Монмартр имел свои кабачки, Латинский квартал — свои. Но на бульваре Сен-Мишель имелось гораздо больше литературных кафе, чем на бульваре Клиши. К тому же кафе на левом берегу знамениты до сих пор, так как здесь вместо Брюана (который, что ни говори, остается видной фигурой) оставили по себе память такие люди, как Верлен и его злой гений Рембо, Мореас, Поль Фор, Аполлинэр. В одном Латинский квартал уступает Монмартру: там нет художников, которые могли бы соперничать с Лотреком, Дегасом, Пикассо, Утрильо. Но Матисс живет еще до сих пор на набережной Сен-Мишель, Динойе-де-Сегонзак и Дерэн — оба в одном доме — на улице Бонапарта, а Маркэ, изображавший на своих картинах свинцовые небо и воду маленького, мертвого рукава Сены, дымки, буксирные суда, — Маркэ был первоклассным художником. Нет смысла заниматься здесь сравнительной оценкой. Во всяком случае, если Монмартр превосходил Латинский квартал, так сказать, «красочностью» своих типов, то в последнем эти типы были значительно любопытнее и «грознее», хотя вначале это не бросалось в глаза.

Я попал в «Вашет» как раз вовремя, чтобы познакомиться с Мореасом и иметь случай слышать, как он презрительно посвистывал, когда какой-нибудь бестактный человек пытался говорить с ним об Академии. Крашеные усы не мешали ему иметь очень гордый вид, а в замечаниях его, хотя и заносчивых, было много здравого смысла и остроумия. Он проповедовал молодежи, окружавшей его в тесном и шумном зале «Вашет»:

— Напирайте сильнее на принципы!

И затем, поглаживая свои усы и поправляя монокль, с авторитетным видом прибавлял:

— Они в конце концов поддадутся!

Мы его избегали как чумы: до такой степени нас неприятно поражали, особенно в некоторые моменты, язвительная горечь и разочарованность, звучавшие в его словах.

Но, как бы там ни было, Мореас, трезвый или пьяный, всегда тащил за собой целую свиту молодых людей. Он любил молодежь, любил женщин, говорил им очаровательные комплименты, импровизировал в их честь стихи. Помню, при мне раз он так экспромтом сочинил стишок для Марии Лоренсен, где воспевался ее смех и «золото ее прекрасных зрачков». Великий поэт! Покинув вслед за Мореасом кафе Вашет (на месте которого вырос впоследствии банк, где я позднее, много позднее, получил свой первый чек), я перебрался на знаменитый Буль'Миш, где мы собирались по вторникам вместе с Полем Фором в Closerie des Lilas, среди неописуемой сутолоки и криков многочисленных поэтов. Славное было время! Пили. Спорили. Дурачились напропалую . . .

Феликс Валлотон.
Портрет Жана Мореаса



Длинные волосы Поля Фора, его сомбреро, его черный галстук, его застегнутая доверху куртка резко выделялись своей простотой среди пестрых нарядов, которыми щеголяли собиравшиеся сюда женщины всех сортов и национальностей: шведки, русские, испанки. Сидя между добродушным великаном Дириксом и поэтом Наполеоном Руанаром, Поль Фор рассказывал нам разные истории. Он хохотал, пел, лил в себя стакан за стаканом, и, непосредственный как дитя, обнимался со всеми по очереди. Всегда в духе, всегда принимавший нас с открытыми объятиями, умевший каждого обласкать, Поль был очень приятным человеком. Попеременно то буколически, то идиллически настроенный, дружелюбный и простой, он всех очаровывал своим чисто галльским остроумием, изобрета-

тельностью, живостью, богатой и пылкой фантазией. Его взгляд проникал вам в самое сердце, как и его тихий, немного шепелявый голос: они передавали вам тот огонь, который жил в нем самом, заражали вас каким-то хмельным весельем.



Феликс Валлотон.
Портрет Поля Фора

Надо было слышать, как этот «король поэтов» импровизировал после полуночи в своем королевстве, в Клозери де-Лила, баллады, которых он никогда не записывал потом! Надо было слышать, чтобы понять, что такое богатство можно тратить без счету, не боясь, что оно оскудеет. Он был не более как человек, но человек очень любопытный, богато одаренный и шутя покорявший самые замкнутые сердца. На улице, под газовыми фонарями или при свете луны, он непрестанно вертелся, «как яйцо, прыгающее среди водяных струй», пел свои песенки и потом вдруг вталкивал вас в какой-нибудь мрачный кабак, где его присутствие сразу все освещало.

Его сопровождали всегда сотрудники журнала «Стихи и проза», которым он руководил. Это были Сальмон с резким профилем, Гильом Апполинэр, Гюи Шарль-Крос, Луи Мандэн, Александр Мерсеро, Фусс-Аморе, который веселился вовсю, Танкред де-Визан, Берсокур, Макс Жакоб, Газанион. Кроме них, в свите Поля можно было увидеть художников, критиков, нищих, боксеров. Вся эта публика шествовала по пятам поэта, как некогда звери — за Орфеем, и с большой готовностью чокалась с ним за столами кабачков.

Помню, как-то славный поэт и художественный критик Танкред де-Визан пришел поделиться со мной новостью о рождении у него третьего ребенка. Мы решили «спрыснуть» это радостное событие и «спрыскивали» его в продолжение двух дней, от воскресенья до вторника, когда, совершенно уже невменяемые, мы столкнулись на бульваре Монпарнас с Полем Фором. Визан хотел было отступить и отправиться домой, но он имел неосторожность показать последние несколько луидоров, еще уцелевшие в его кармане, — и Поль Фор завладел ими.

— Идем их пропивать! — весело заявил наш принц. — Все!.. Все!..

Час был поздний. Но нас пустили в какой-то кабачок, — эти вертепы к вашим услугам всегда, в самые неурочные часы, — и кутеж начался. В этом кабачке, представлявшем собой нечто вроде длинного коридора, среди зеркал, скамеек, мраморных столов, — мы продолжали пить через силу, так как были уже перевозбуждены. Возлияния следовали за возлияниями, и поднялся ужаснейший концерт, причем наиболее пьяные из нашей банды, чтобы еще увеличить шум и кавардак, били стаканы и вскакивали на стулья.

Что было потом? Не знаю, хотя я был в числе этих пьяных буянов. Мне смутно помнится, что, когда опьянение достигло последнего предела, я устроил скандал, потому что мне показалось, что кто-то отозвался неодобрительно о Рембо. А затронуть этого поэта я не мог никому позволить. Дело окончилось общей ссорой, во время которой какой-то боксер из свиты нашего принца избил меня и выбросил за дверь.

Печальное положение! Лежа на тротуаре, с подбитым глазом, с вывихнутой правой лодыжкой, я мало-помалу пришел в себя и снова заорал:

— Да здравствует Рембо!

Тогда надо мной склонился Поль Фор, положив по-братски руку на мой лоб, смеясь и причитая одновременно:

— Рембо?

— Да, Рембо! Да здравствует Рембо!

На этот раз вместо боксера я попал в руки полицейского, который, не понимая моего энтузиазма, предложил мне следовать за ним — и без промедления.

Так как я не торопился исполнить его приказание, он свистнул второго, и оба потащили меня в участок, оттуда же — в больницу, где дежурный врач оказал мне первую помощь. На следующий день, держа в руках собственные ботинки, я сидел в фиакре, который вез меня, куда глаза глядят.

— Стой! — орал я через каждые тридцать метров. — Извозчик, взгляни, нет ли тут поблизости бара?

Кучер соскакивал с козел, отправлялся за двумя стаканчиками, которые мы дружно распивали тут же у дверцы фиакра; потом мчались во всю прыть дальше, до следующего трактира. Можно себе

представить, до какого состояния дошли мы оба — кучер, безоговорочно признавший заслуги Рембо, ибо я его угощал бесплатно, и я, восхищенный такой победой, которая к тому же не стоила мне второй вывихнутой ноги. Этот кучер оказался честным парнем: остановив лошадь у моей двери, он отказался взять с меня плату и, взвалив меня к себе на спину, донес до моей комнаты, к большому развлечению зевак.

В девяти случаях из десяти так кончалась в то время большая часть наших «братских вечерь». Таков был наш способ выражать свое восхищение поэтами (которые свое время употребляли с большею пользой) и, кроме того, стяжать себе в квартале всеобщее признание и почтение. Но в тот раз, о котором я рассказываю, прошел месяц раньше, чем моя нога снова стала мне служить.

В другой раз, ночью, я оказался в таксомоторе вместе с Рашильд, тронутой состоянием, в котором я находился, и уплатившей шоферу за то, чтобы он довез меня до моего дома.

— Нет, вези к Паскалю! — потребовал я, как только Рашильд сошла.

У Паскаля мое поведение, по-видимому, оставляло желать лучшего, так как возмущенный хозяин уложил меня спать в маленькой боковой комнатке и утром отправил домой в сопровождении полицейского. Я отсыпался два дня и две ночи как зверь и, проснувшись после этого, почувствовал странную боль в ухе. Засунув туда тотчас же пальцы, я вытащил клочок бумаги, аккуратно сложенный вчетверо и запихнутый чуть ли не до самой барабанной перепонки.

Эта невероятно безграмотная записка гласила:

«Франсис, ты был совсем вдрызг, и я взяла деньги, что у тебя были, 14 франков и которые ты приходи в “Даркур” за ними».

Подписано: «Жизель».

И ниже пост-скриптум:

«Я взяла эти деньги, чтобы другие женщины их у тебя не стащили».

* *
*

Боюсь, читатели найдут, что я захожу слишком далеко. Сумасбродства, подобные описанным мною, нельзя, конечно, считать поведением хорошего тона, но как же быть? Рассказал же я второе приключение, чтобы дать представление о той материнской заботливости, какой окружали нас, поэтов, даже тогда, когда мы были мертвецки пьяны, эти девицы с левого берега Сены. С ними мы были

в безопасности. Они даже образовали «лигу» для защиты своих приятелей-французов от метэков[15] и часто выручали нас в критические минуты. Помню, я нашел себе хорошо оплачиваемое место секретаря у Луи Вокселля и весьма этим гордился. Однажды вечером, выпив по сему поводу лишнее, глупейшим образом поссорился



Фред Пайле.
Ночь

с каким-то дюжим субъектом, который дал мне такого тумака, что я покатился по полу. Тотчас все «барышни» бросились мне на выручку и помогли отомстить за бесчестие. Но все мы попали в участок, и на другое утро Вокселль, который намеревался принять меня в секретари, вглядевшись в мою физиономию, осведомился, сколько дней в неделю я способен быть приличен и серьезен.

— Через день, — ответил я ему.

— Прекрасно. В таком случае один день гуляйте, а другой приходите работать.

И этот добрейший в мире человек, уплатив мне вперед за месяц, простился со мной со словами:

— Итак, до послезавтра!

Кто посмеет после этого утверждать, что милость господня не почиет на литераторах? Так мог бы говорить лишь тот, кто — не поэт, — и он бы солгал.

— Скажите, сударь, — спросил у меня совсем недавно один американский репортер, жаждущий, как и все они, получить даром какой-нибудь «материал»: — что вам кажется самой удивительной вещью на свете?

— Право, не знаю.

---

[15] Метэки — на парижском арго — бранное слово для обозначения иностранцев, особенно представителей Южной Америки и т.д.

— Нет, но все-таки ... — настаивал этот мошенник, не спуская с меня глаз и держа наготове свою записную книжку. — Вспомните, подумайте! Что вас больше всего удивило в жизни?

— Удивило... в мире... Честное слово, придумал! Пишите: мне кажется самым изумительным на свете то, что я теперь добываю средства к существованию, рассказывая истории, которых не потерпели бы за столом мои родители!

Что другое мог я ему сказать? В двадцать лет человек всегда убежден, что в романе следует описывать лишь факты исключительные,—вот почему в наших письменных столах хранятся пресмешные литературные опыты. Бедные юноши! Нам тогда еще не открылось значительное в жизни, и мы не смели в этом сознаться, а между тем лишь о нем и стоит писать. Молодые люди могут мне поверить. Если они пройдут через тот возраст, когда всему учишься без учителей, не проделав тысячи ошибок и глупостей, — они состарятся слишком рано, и у них не будет того опыта, который питает наш зрелый возраст и которого, как ни старайся, не почерпнешь из книг. Надо прежде всего жить, хотя бы мы платили из это, как признается Доржелес в своей «Boutique de Socrate», тем, что оставляли позади себя «даром растраченные дни, бесплодные усилия, неудачные романы, вместо семьи — бесчестных трактирщиков, вместо теплого гнезда — сырые трущобы». «Но, — добавляет тот же Доржелес, — если мы еще иногда смеемся теперь, то это только при воспоминании о тех невзгодах и печалях».

Понимал это хорошо и Гильом Аполлинэр, который на свадьбе своего друга Сальмона встал и прочитал следующие строки:

В проклятом погребе мы встретились с тобой
В дни молодости нашей,
Курили мы вдвоем и ждали мы зари,
Влюбленные, влюбленные в слова, чей смысл
необходимо изменить;
Обмануты, обмануты, как дети, не научившиеся смеху.

И правда, что смеху можно научиться только ценою самых тяжких испытаний, ценой жизни и борьбы, пожалуй — даже и нужды и одиночества. Вспомните героя Мандалейской дороги, певшего в кандалах, вспомните других, подобных ему, вспомните Франсуа Вийона! Он смеялся «сквозь слезы», этот несчастливец, — и не скрывал этого. Могли ли мы забыть его пример? Нет, мы его не забыли. Он поддерживал нас в нашей жизни в узких улицах Латинского квартала, поддерживает до сих пор. Это он спасал нас от отчаяния и разочарований в тех «проклятых» погребах, о которых говорит Гильом.

Этот «погреб», где Гильом встретился с Сальмоном, находился на улице Грегуар-де-Тур и не лишен был некоторой живописности. Он составлял часть бара, и девушки, носившие пышные имена: «Ио-

ланта», «Изабо», «Гильеметта», «Дениза», ожидали здесь клиентов, под низким, выбеленным известкой сводом. Земляной пол, лари вдоль стен, тяжелые кольца, вделанные в каменные стены, и большие сердца, пронзенные стрелами, изображенные на этих стенах, дополняли впечатление. В этой преисподней пили вино, курили солдатский табак, и субъекты, скрывавшиеся в теии подпиравших свод столбов, одетые в грязные лохмотья и кожаные плащи, весьма походили на знаменитых членов «Раковины»[16].

Сколько раз, наблюдая со своего места эту компанию, я тихонько повторял про себя стихи Вийона, и мне чудилось, что я вижу его стоящим меж столов, полураздетым, с приставшей к его платью землей, с почерневшими руками, с впадинами вместо глаз, — мертвеца, вставшего из могилы.

Да, он незримо присутствовал здесь и пел свою «Балладу о хороших правилах для людей дурной жизни», — а эти люди, о которых и для которых он пел, не видя его, казалось, внимали его голосу, будившему глухой отклик в глубине их дремавшей совести. Мы так тебя любили, Франсуа Вийон! Ты был нам так близок, что мы словно ощущали твое присутствие среди нас за столом, а на улице нам казалось, что ты шагаешь рядом с нами, когда мы возвращались домой при бледном свете наступающего дня и бродячие псы останавливались, боязливо обнюхивали нас и в молчании, словно испуганные невидимым присутствием призрака, убегали прочь. Да, это ты был с нами... И ты исчезал, оставлял нас так неожиданно, что какое-то странное чувство заставляло нас пересчитывать оставшихся и мы говорили, оглядываясь:

— Стойте! Да где же о н ?

XIV

Черные дни миновали. Благодаря Жану Пьерфе и Максанс Легран, моим «крестным отцам» у Баптиста, я получил кредит в пансионе Лявер и ел два раза в день. Ох, этот пансион! Несмотря однако на то, что на лестнице пахло кошками, а обстановка столовой далеко не отличалась роскошью, дела Баптиста шли прекрасно. Его обычные столовники, которым пришлось потесниться, чтобы дать мне место, очень скоро стали моими друзьями: Жироду, Клюар, Ле-Кардоннель, Тардье, Рамон, Блан... не помню, кто еще... Все они были в восторге от этого заведения, чувствовали себя там отлично и пребывали всегда в самом благодушном настроении. Хозяин столовой, Баптист, скрывавший под сонным видом величайшую пронырливость и хитрость, кроме обедов отпускал своим клиентам кофе, спиртные

[16] «La Coquille» — «Раковина» — название воровской шайки во Франции во времена Вийона.

напитки и сигары. Это для него было вопросом чести. Связанный традицией тех мест, где Гамбетте, Валлесу, Курбэ (назовем хотя бы только этих троих) всегда был готов прибор на столе, Баптист точно такое же внимание оказывал я нам и держал себя всегда по отношению к нам безукоризненно. Мы часто заглядывали и в кафе «Клюни», где всегда находили на обычном месте в темном углу в глубине зала м-сье Альбала, не выражавшего при виде нас никакого удовольствия. Мы усаживались рядом с ним, слушали и наблюдали его. За его столиком разговор шел всегда только о литературе, и, должен сознаться, я в их разговорах ничего не понимал. Андрэ Билли, Ренэ Жиллуэн, очень осведомленные в этой области, так как они были видными журнальными критиками, заставляли меня стыдиться своего невежества. Оба они во время беседы здесь импровизировали, так сказать, начерно свои будущие статьи, в то время как Жан Жироду, с неизменным лорнетом у глаз, вставлял шутливые замечания, а Ренэ Despite Дализ и Жак Диссор зевали, утомленные бессонными ночами.

Последний играл в нашей компании роль «испорченного мальчика». Он чрезвычайно тщеславился своими сомнительными знакомствами и предосудительным образом жизни. Постоянно восхвалял достоинства своего друга Гюбера и некоей Бетти; к этой Бетти он меня как-то раз затащил, и мы там пили в обществе женщин.

Я не встречал шалопая, более увлекающегося, живого и естественного, чем Диссор. Он, казалось, был создан для того, чтобы скандализовать порядочных людей, и относил к себе стих Франсуа де-Мейнара:

Входит средь бела дня в притон, —

который он с жаром цитировал, предоставляя мне вспоминать вслух другую строфу того же поэта, полную горечи и разочарования:

Избыток печали сгубил
Того, кто всю жизнь проводил
Среди ветреных жриц веселья.

В сравнении с ним я был лишь любителем, новичком, если хотите. Обширные и разнообразные знакомства моего друга Жака не знали себе равных в смысле оригинальности. В игорных домах и притонах квартала Сен-Жорж он наглядно обучал меня, как сделать, чтобы насытиться, ничего не истратив: далекий от какого бы то ни было стыда, он набивал мне карманы сандвичами и крутыми яйцами, похищенными в буфете. Чего нам было стесняться? Вольная жизнь Жака походила на необыкновенный роман. Когда я однажды встретил его одетым в слишком широкий сюртук, зеленый жилет и черные панталоны, он со вздохом сказал мне:



Винсент Ван Гог. *Бордель*

— Ты не видел меня в полном блеске... Жаль... Эх, старина!.. У меня был алмаз вот такой (он показал на яйцо), башмаки по мерке, шелковое белье и костюмы... Пять костюмов! Клянусь тебе!..

—И что же?

—И вот... я все продал, потому что нечем было жить ... алмаз, платье, все ...

И , охваченный внезапной меланхолией, он начал мурлыкать:

Зима была мрачней и холодней,
Мы даже не играли в королей.
Кто будет королем, кто будет кралей
Моей печали?

Нет, лучше не писать о нем совсем: мне не поверят.

Каждый вечер происходила «драма из-за ключа» между бесчувственным хозяином гостиницы и моим приятелем — поэтом Жаком. О таких же драмах рассказывает где-то и Пьер Мак-Орлан, вспоминая свою юность. «Этот ключ висел обычно на гвозде, под номером, на доске, — объясняет он и добавляет далее: — Счастье для меня и, вероятно, для других, что эта доска не могла записывать звуки человеческого голоса».

Да, это было большое счастье. Но и при таком условии требовалось еще немало ловкости, чтобы выйти из положения. Жак на

следующее утро переставал думать об этом и возвращался к своей беспутной жизни. Когда ему хотелось некоторого отдыха и успокоения, он находил их в том, что просвещал одну очень хорошо воспитанную молодую девицу, поджидавшую его обыкновенно в сен-жерменском метро. Жак гулял с нею под-руку, водил ее в места, куда обыкновенно не ходят молодые девушки, и, гордясь быстрыми успехами своей ученицы, восторгался ею, рассказывая мне о своих подвигах.

«В жизни многих артистов, писателей, а также и бывших сутенеров, превратившихся в почтенных коммерсантов, — говорит Пьер Мак-Орлан, — бывает период, когда самые большие циники с удовлетворением, а другие — с горечью, констатируют, что улыбки фортуны — если фортуна пожелает улыбнуться — не могут более рассеять туч, нависших над ними».

Всем нам это хорошо известно. И — тем лучше, потому что, узнав беспутную жизнь, мы ныне можем показать ее в истинном свете и достигнуть того, что нам ее простят. Где зло? Мы совсем над этим не задумывались. Мы стремились жить — и, занятые лишь этим одним, не тратили времени на отчаяние при самых бедственных обстоятельствах. Не надо забывать, что прожить, когда у тебя нет другого занятия, как писать стихи, — дело нелегкое! Приходилось для этого пускать в ход все средства, каковы бы они ни были, и в конце концов часто довольствоваться суммами до того ничтожными, что, когда наступало время их платить, особенно гордиться было нечем.

Стою я не больше, чем другой,
И — немного это! —

заявлял Жак Диссор.

Но Жак Диссор умел писать не только такого рода стихи: он был автором «Последнего интермеццо», а эту книгу я не отдал бы за многие знаменитые произведения, потому что считаю, что вряд ли что может с нею сравниться.

Другой поэт, из которого сделали святого и который заслужил эту репутацию, — Жан-Марк Бернар, оставивший нам прекраснейшую и печальнейшую поэму о войне, — в те времена, о которых я рассказываю, часто бывал в тихом кафе «Клюни». Он никогда не садился за стол критиков, а устраивался на террасе за маленьким круглым столиком, где он находил Клюара, Зона, Ле-Кардоннеля, Марселя Друэ, радостно его приветствовавших. Жан- Марк Бернар жил в Сен-Рамбер д'Альбон. Я познакомился с ним в Оранже, затем однажды неожиданно явился к нему в дом в Сен-Рамбер, где он жил с матерью, посвящая все время прилежной работе. Мы скоро стали большими друзьями.

Дорогой, несчастный Жан-Марк! Этот день, начавшийся моим первым посещением, закончился в Валенсии; там жила одна любо-

пытная особа, с которой поэт поддерживал постоянные сношения. Это была содержательница кабачка с «дамами», вблизи кавалерийских казарм. Не лишенная соблазнительности, эта муза поэта, уже довольно известная в то время, когда Жан-Марк меня ей представил, уделяла своей торговле столько же внимания, сколько своим романам. Жан-Марк писал для нее стихи, подписывая всегда под ними название этого заведения, где мы часто вместе проводили часы, попивая вино и беседуя среди ужаснейшим образом накрашенных созданий.

Я люблю твои грустные очи —

бормотал Жан-Марк и затем начинал читать все это стихотворение, посвященное Берте, — стихотворение, в котором он виден весь целиком:

Молчи! К чему мне ложь твоя —
Я ни о чем ведь не спросил!
Меня терзает стыд, и я
Руками голову закрыл.

В Париже, пытаясь прервать эту тягостную связь, недостойную такого крупного человека, и возобновить сношения с другой женщиной, которая не могла ради него изменить свою жизнь, Жан переживал тяжелые дни. В эту пору своей жизни он бегал по кабачкам Латинского квартала и Центральных рынков и, полный холодного разочарования, проводил ночи, декламируя стихи и не обращая внимания на людей. Высокие гамаши, которые он носил, придавали ему вид и походку какого-нибудь провинциального дворянина. Его свободные и откровенные речи, лихорадочный блеск его глаз, постоянная экзальтация обращали на себя внимание и порою давали повод к каким-нибудь историям; но Жан-Марк никогда не пытался ускользнуть от них. И, когда мы на рассвете возвращались домой, он, стуча зубами от холода, вздыхал:

Как хладен рассвет после ночи бессонной!

Как и Тристан Дерэм, которого мы (я и Клодьен) оставили в Аженском лицее, где он кончал курс, — Жан-Марк посылал мне в Париж из провинции свои стихи. И эти стихи, в окружающей атмосфере искусственности и литературщины, были как струя свежего воздуха, неожиданно овевавшая и бодрившая меня. Стихотворения Жан-Марка и Тристана Дерэма теперь у всех на устах, и это доказывает, что я не ошибся в оценке. Точно так же могу я похвалиться, что еще около 1913 года прозрел в Пьере Бенуа будущего романиста. А кто бы это подумал в те годы, когда на улице Валуа Пьер представлял собой просто веселого малого, чиновника министерства изящных

искусств? Нас познакомили Шарль Перро и Дерэн, который играл с Пьером нескончаемые партии в покер в пыльной пивной на улице Медичи. Подле аквариума с золотыми рыбками, под наблюдением сонного хозяина, они часами сидели за игрой, обмениваясь только самыми необходимыми словами. Дерэн проигрывал, Бенуа выигрывал. Потом этот удивительный малый провожал нас и декламировал на память целые акты из «Полиевкта» или всю целиком, не пропуская ни одной строчки, «Легенду веков».

Он помещал в журналах, без подписи, пародии в стихах, настоящие маленькие шедевры, составляя «Большую антологию», где каждому из нас «доставалось», и веселился как сумасшедший, когда ему удавалось побороть трудности чужого стиля. Его «Двойной букет» дал и ему и нам немного денег. Но деньги эти были быстро истрачены под сенью аквариума с золотыми рыбками, в пивной, и надо было ждать несколько месяцев, пока случатся новые.

Пьер Бенуа был тогда такой же, как теперь, — вечно прыгающий, скачущий, всегда в хорошем настроении. Он терпеть не мог важного и серьезного м-сье Souday, имя которого он в насмешку писал таким образом: $^{\text{Day}}/_{\text{Paul}}$ (то есть «Paul sous day»).

Будучи большим любителем одного сорта «горькой», Пьер Бенуа по утрам всегда заседал в буфете Орсэйского вокзала, где мы с ним и встречались. Этот «биттер Милон» имел свою историю. Он обычно служил ставкой в различных пари. И Дерэн, например, так к нему пристрастился, что нашел способ пить и тогда, когда час выпивки кончался для всего Парижа, и, чем больше ои пил, тем больше возрастала его жажда. Запасшись билетами метрополитэна, мы спускались на ближайшую станцию и, став с обоих сторон пути, ждали, чей поезд придет первым. Тот, с чьей стороны поезд приходил первым, — выигрывал. Затем мы отправлялись на набережную д'Орсэй пить знаменитую «горькую» за счет проигравшего и пили до тех пор, пока не заболевали на целые сутки. Один только Пьер Бенуа соблюдал меру. Он никогда не бывал пьян. Но обыкновенно после пятого или шестого стаканчика этой горькой смеси он вдруг начинал разговаривать так оглушительно, что у наших соседей за столом начиналось головокружение. Он всегда аккуратно являлся в свою канцелярию, куда проходил узкими коридорами, заваленными кусками штукатурки и архивными бумагами; в то время он напоминал мне так хорошо описанную Колеттой суетливую, лукавую и милую крысу, которая, зная все углы и закоулки министерства, шмыгает повсюду, то показываясь, то исчезая. Чтобы попасть к Пьеру, надо было пройти через руки целой стаи разных привратников и приставов, и, — мало того! — все эти личности помогали вам его разыскивать, пытаясь поймать его, и в конце концов, совсем измученные, отвечали на упреки посетителя:

— Что вы поделаете с м-сье Бенуа?! Вы его ищете здесь, а он, оказывается, уже там!

«Там» — это означало в буфете палаты, где Пьер Бенуа балагурил с депутатами, секретарем коих он состоял, или в теплом, надушенном будуаре Мориса Ростана, или в пивной на улице Медичи, в буфете на вокзале в Орсэй — и мало ли где!..




Луи-Жозеф Сула.
Портрет Пьера Бенуа

Всюду, где его менее всего ожидали, Пьер появлялся, развлекал присутствующих остроумными выпадами и так же неожиданно скрывался. Никто из его близких не мог бы сказать, чем он занят в тот или иной момент, когда он не в кафе и не в министерстве, и кого он посещает. Он обставлял очень таинственно свои визиты к Андрэ Сюаресу, которым весьма восхищался, к Барресу, к красивым женщинам, — и, нерасчетливо щедрый в дружбе, тратил целые дни на встречи с теми, кто ему нравился. Напрасно утверждают, что руководящей его страстью была страсть к интригам. Если он и посвящал часть своего времени замысловатым дурачествам и козням, то зато достаточно было прочитать при Пьере строчку из Бодлера или Расина — и он, забывая в ту же минуту самые грандиозные свои затеи, подхватывал и продолжал читать наизусть «Цветы зла» или любую трагедию Расина.

Его поразительная память никогда ему не изменяла. Он ее упражнял этим нескончаемым цитированием, потом, когда оно ему надоедало, возвращался опять к своим проделкам и усердно их разрабатывал. Один из близких его приятелей, неумеренно пивший, уехав из Парижа во время войны, очень скоро снова отыскался где-то в провинции. Пьер придумал следующую шутку. Отыскав в справочнике фамилию некоего М. Х., президента Лиги трезвости и ужаснейшего ханжи, он написал своему другу, что, если тот посетит М. Х. и сошлется на его, Пьера, рекомендацию, то при небольшой лов-

кости он может надеяться добыть от этого почтенного старца бутылочку абсента «Pernod», который тот будто бы употребляет в огромном количестве. Приятель поверил Пьеру и отправился к президенту Лиги трезвости. После долгого и бессвязного разговора, немало удивив хозяина, он наконец не выдержал и, похлопав последнего по животу, пробормотал убедительным тоном:

— Да ну же, не будьте скрягой, угостите «синенькой»!.. Ей-богу я никому не расскажу!

После этого его, конечно, с позором выставили.

Пьер ни перед чем не останавливался, если дело шло о том, чтобы позабавиться. Как раз во время этой ужасной истории с президентом Лиги, он только что окончил свой «Кенигсмарк» и был в большом затруднении, где его пристроить. Почерк у него был такой ужасный, что, помню, никто не хотел и прочесть даже одной строчки, и Пьер ходил со своей рукописью под мышкой до того дня, когда, уже совсем обескураженный, передал ее мне. Помню, это было на улице Бучи у Буало в ресторане «Трех дверей», где Луи Дюмюр завтракал с нами. Я просидел целую ночь, разбирая иероглифы Пьера, и на следующий день имел уже определенное мнение насчет достоинств его рукописи. Дюмюр, которому я ее передал, выхлопотал, чтобы ее напечатали в «Mercure de France». Таким образом, первая победа была одержана. Талант Пьера сделал остальное — к великому удовлетворению и моему и всех его читателей.

* *
*

Какой пустяк решает иногда судьбу человека! Я это узнал, когда была написана моя первая книга «Jésus la Caille». Как сейчас вижу себя подымающимся по лестнице «Меркурия», когда один собрат по перу, которого я не назову, остановил меня и спросил:

— Вы идете к Валетту?

— Да, — поправил я, — к м-сье Валетту.

— Зачем? Наверно с каким-нибудь маранием?

— Я хочу ему предложить вот это, — показал я робко на свою рукопись.

— Ба! Он ее не станет читать. Скажу вам, что вот уже третью рукопись я кладу на его стол — и безрезультатно. Оставьте всякую надежду, мой бедный друг...

Несколько дней спустя Поль Фор праздновал свадьбу своей дочери с художником Северини, и я был в числе приглашенных. В кафе Вольтера шел нескончаемый пир: празднества, которые организовал Поль Фор, всегда принимали грандиозные размеры. Наш «король поэтов» пел, стоя у пианино. Гости пили, поздравляли, а

Маринетти, чей чудный белый автомобиль резко выделялся на серой мостовой площади Одеона, предаваясь футуристическим удовольствиям, бил посуду. Это было великолепно. Мы орали вовсю, с трогательным единодушием прославляя прелести Парижа и ультрасовременное искусство молодой Италии, когда Поль Фор вдруг восстановил тишину и попросил меня спеть песенку. Я охотно исполнил его просьбу. Аполлинэр внимательно смотрел на меня, пока я пел уличную песенку, слышанную мною в какой-то танцульке. Эта песенка имела такой успех, что мне пришлось вслед за ней исполнить весь свой репертуар, к великому удовольствию одной «дамы», мне незнакомой, которая осведомилась о моем имени.

Это была Рашильд.

— Мое имя? — повторил я. — Вашему редактору оно небезызвестно!

— Моему редактору? Каким образом?

— Он вам может это объяснить, — огрызнулся я, раздраженный настойчивостью Рашильд. — Я ему приносил свой роман...

— Да что вы?!

— Ну, да!

— Ах, ты, бездельник, — шепнул мне Аполлинэр, слышавший этот разговор. — Ловкий маневр! Теперь твое дело в шляпе.

— Что ты этим хочешь сказать? Не понимаю!

— Я хочу сказать, что теперь Рашильд будет приставать к Валетту до тех пор, пока он не даст ей твою рукопись. И она ее прочитает, не откладывая в долгий ящик, будь спокоен! Нет лучшего союзника, чем Рашильд... Погоди — увидишь...

Гильом был прав. «Jésus la Caille» понравился автору «Monsieur Venus», был принят в «Меркурии» и напечатан спустя три месяца.

Вот как на свете дела делаются! Ведь, не будь Рашильд, которой я всецело обязан тем, что моя книга увидела свет и которая с тех пор всегда оставалась мне добрым другом, я бы, вероятно, еще доныне фигурировал в роли «молодого, начинающего» в пивных, где слава горька как желчь.

> Ах, слава быстро увядает,
> Короток срок ее часам.
> Глупец, кто трубку променяет
> На славы дымный фимиам! —

писал мне Дерэм из своей провинции... И я соглашался с ним, клянусь. Как настоящий «поэт-фантастик» (так называлась одна из новых школ), я тщете и суетности славы предпочитал мою трубку, мое скромное существование и, главное, моих друзей...

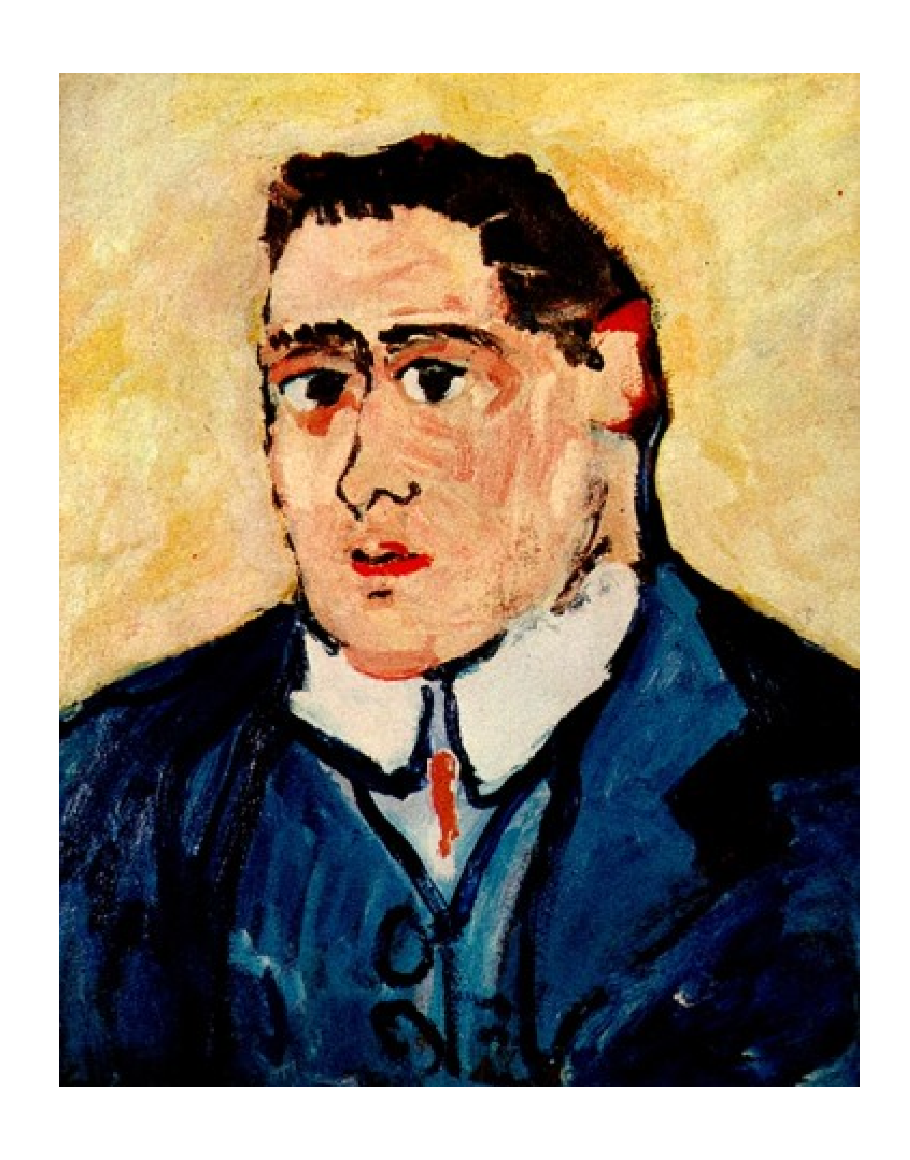
Этими друзьями неизменно оставались Ла-Вессьер, Тристан Дерэм, Жан Пеллерен, Эдуард Газанион, Мак-Орлан, Варно, Доржелес, Марио Менье, Пьер Бенуа. Мы виделись часто. К одним я ходил

на Монмартр. Ради других оставался в Латинском квартале, и меня не прельщало ничто на свете, кроме наших встреч и обычных занятий. Вставал я поздно и иногда, боясь рассердить Баптиста, у которого часы были точно распределены, отправлялся не к нему, а в ресторан на улице «Сен-Пэр», где я знал, что застану ожидающего меня Аполлинэра. Он меня встречал радостно, заказывал для себя крепкий бульон и, как ни в чем не бывало, уплетал его, за компанию, после кофе, потом возвращался на свою голубятню.

Это был плотный толстяк, и «приятная полнота», из-за которой он задыхался при малейшем усилии, придавала ему внушительный вид. Восседая на трещавшем под его тяжестью стуле за едой, он походил на какого-нибудь бога веселья и обжорства. Да, поесть он был любитель. Чем больше он ел, тем более расцветал от физического удовольствия. Этим удовольствием, казалось, дышала вся его фигура, оно не имело границ, ширилось и разливалось как река, вышедшая из берегов. И самое замечательное то, что, отяжелев от жаркого, хлеба, вина, бульона и всего другого, которое он ел и пил двойными порциями, Аполлинэр способен был сразу засесть за работу и работать до ночи в своей квартире на Сен-Жерменском бульваре, где его секретари дожидались его возвращения.

В просторной комнате, среди массы рукописей, статуэток, кубистских картин, негритянской скульптуры, — эти переписчики, внимательные к его приказаниям, трудились, не покладая рук. Гильом был настоящим «буффонным тираном». Входя в комнату, он напускал на себя суровость, снимал воротник и жилет и, набив глиняную трубку, усаживался. Тут начиналось то, что он называл «самоотравлением». Он делал для различных издательств какую-то очень странную работу. Единственное, что я могу о ней сказать, это то, что она состояла в соединении вместе различных вырезок, набросков, сделанных им и другими на обороте каких-то банковских счетов, на первых попавшихся клочках бумаги. Подбирать и прилаживать друг к другу эти клочки было делом не легким. И по мере того, как каждая обертка, содержавшая материал для одной из глав книги, наполнялась, округляла свой животик, физиономия Гильома все более прояснялась. Он даже по временам разражался густым смехом, продолжая свою работу с ножницами в руках.

Все в нем дышало плодовитостью, творческой силой, мощной и богатой выразительностью. Кто не слышал его смеха, похожего на раскаты грома, у того не будет полного представления о его личности. У того не будет ключа к двери, ведущей в сложное здание из ценных материалов — и из обломков; из сказок, рассказов, новых и высоких идей, поэзии, общих мест, всей той мешанины, которую умел замешивать в твориле только этот удивительный человек, трудясь над нею в течение долгих часов, обливая ее потом и, — да простится мне неприличие этого сравнения!—испражняя в нее все то пиво, которое он поглощал на террасах литературных кафе.



Морис де Вламинк. *Портрет Гийома Аполлинера*

И какое же он вызывал — и заслуженно вызывал — поклонение себе благодаря полету своей несравненной фантазии!

Луи де-Гонзаг-Фрик тоже почитал Аполлинэра. В шляпе с высокой тульей, в новеньких перчатках, с холодным моноклем в глазу, он, движимый своим восхищением (что я говорю — восхищением? это походило скорее на культ), являлся к Аполлинэру аккуратно каждое утро. Фрик звонил. Гильом открывал. Усердный почитатель кланялся и спрашивал:

— М-сье Гильом Аполлинэр?

— Это я, — отвечал поэт.

Тогда Луи де-Гонзаг-Фрик подносил Гильому яблоко как символ того, что он, подобно Парису, избрал его. И Гильом, взяв яблоко, принимался весело его грызть.

Только с автором «Alcools» могли происходить такие вещи. Ибо, — что бы о нем ни говорили, — вопреки внешнему впечатлению, которое он производил, в этом толстяке как будто жил один из старых духов немецких баллад, который, ища, где бы ему поселиться, нашел самым удобным для этого тело Аполлинэра. Не он ли, вздумав подурачить одного из своих сотрудников, заставил его переписывать целые страницы из словаря и затем читал их вслух с восторгом и жаром? Он любил все комическое, любил шутки и часто заводил их очень далеко. Например, он целую зиму переписывался с одной торговкой старым платьем с улицы Коломбье, которая давала волю своему ядовитому язычку в стихах и вывешивала их снаружи, у входа в лавку. Гильом ходил туда читать эти поэмы, потом возвращался домой, строчил послание своей корреспондентке, относил его на почту и ожидал, что будет дальше. Вечером мы все вместе отправлялись знакомиться с последними произведениями торговки, и Гильом, подбоченясь, читал громким голосом эти оригинальные вирши.

Смотрите на этого толстяка,
Он сеном себе набивает бока, —

написала дама однажды. Гильом прочитал целиком это далеко не лестное произведение, поклонился — и торопливо потащил меня в кафе.

— Вот дрянь! — выругался он, видимо разозленный.

Но то был Гильом-поэт. А Гильом — художественный критик был совсем другой человек. Общение с художниками имеет в себе столько приятного, что вы забываете о критике, но не о пользе, которую можно извлечь из этого общения. Пикассо был первым учителем Гильома и, честное слово, сумел победить его.

«Пора стать настоящими мастерами», — писал автор «Калиграмм» в своих «Размышлениях об эстетике». И далее, там же, он добавляет: «Рисуйте, чем хотите, трубками, почтовыми марками, открытками, канделябрами, кусками клеенки, газетами. Мы никому не ста-

вим ограничений». Но отчего, когда дело касалось живописи, Гильом принципиально игнорировал краски?



Жан Метцингер. *Портрет Гийома Аполлинера*

— В тот день, когда кубисты прибегнут к помощи красок, — совершенно серьезно заявил он мне, — они лопнут.

Этот парадокс Гильом любил повторять, носился с ним. Ему-то он обязан своим успехом критика; на террасе тихого кафе Флоры его всегда окружали художники, стремясь извлечь пользу из его указаний и наставлений.

Гильом еще говаривал:

— Ценность произведения искусства измеряется количеством труда, вложенного в него артистом.

И он излагал на бумаге самые противоречивые теории, нимало не заботясь об их практическом результате.

Эти веселые беседы, перемежавшиеся взрывами смеха, приносят еще до сих пор плоды. Но, увы, нет больше Гильома, чтобы поддерживать при помощи пылкой фантазии и шутливой искренности здание, которое он возводил в свое время, спокойно покуривая тру-

бочку. Сальмон, как человек тонкого ума, остерегся принять это наследие, слишком для него тяжелое, слишком неустойчивое. Он «отмахнулся» от него, и, может быть, теперь тешится в душе, наблюдая, как Жан Кокто использует это наследство.

Ах, как весело жить, любуясь на то, что́ делается на свете, и констатируя, что в сущности известным кругам, чтобы развлекаться, достаточно собственной глупости! Если бы не Жан Кокто, кто бы поверил, что кубизм способен очаровать снобов! А между тем мы видим, что он их околдовал, и этот поэт — вышедший из Ростана— ныне блистает в роли деятеля искусства, в роли какого-то «предтечи» или чего-то в этом роде. Раздушенный теоретик, изобретатель загадок и ребусов, — любимец старых дам и юнцов. Человек способный, что и говорить.

Вот кто весьма забавлял Гильома и ни капли его не возмущал! Плечи его не гнутся под тяжестью земного шара, того самого, что заставлял некогда сгибаться Атласа и наполовину раздавил его. Или, быть может, земной шар теперь уже не тот? Быть может, он — полый, и им так же легко вертеть, как теми целлулоидовыми шарами, которыми играют дети? В этом нет ничего невозможного. Зернышки внутри его гремят почти как бубенчики, и, куда дует ветер, туда катился и он, к развлечению зевак, пришедших поглазеть на изумительные трюки акробата. Всмотритесь в него: он хихикает и гримасничает во время своих фокусов и дрожит от страха, боясь, что его освищут. Всякий раз, как трюк удается, это — чудо. А когда шар падает на землю, наш акробатик, вместо того, чтобы провозгласить, как его славный учитель Гильом: «В конце концов я перестал бояться обманов», топает ногой, сердится и плачет заранее приготовленными слезами, такими же пустыми, как и его шар.

Нет, мне милее Аполлинэр с его обманами и заблуждениями. Аполлинэр по крайней мере был истинный поэт, писатель, достойный этого имени, человек выдающийся, удивительный.

Если он, ведомый своей любовью к искусству, и сбился с пути, то во всяком случае он не делал себе на этом карьеру. Я видел в конце войны, каким тяжелым и неблагодарным трудом он снискивал себе пропитание. Бедный Гильом Аполлинэр! Он оставался на посту, борясь до последней минуты, отдавая себя целиком, выбиваясь из сил. Подобно Мореасу, восклицавшему на смертном одре: «Классики и романтики — все это ерунда!», Аполлинэр всей своей жизнью заслужил право быть авторитетом, к слову которого относятся с вниманием и почтением. Если некоторые изменили его памяти и систематически его эксплуатировали, считая, что они действуют в его интересах,— что же, тем хуже для них! Предоставим им самим оценить свою роль по достоинству! Аполлинэр открывал иные пути: нас, знающих это, еще много. Поэтому мы не станем разыскивать то, что еще, может быть, сохранилось от него в

кабачках, дорогих сердцу Жана Кокто. На Монпарнасе — вот где еще витает его дух! Вот где мы его найдем!

* *
*

Монпарнас — это вторая родина Аполлинэра. Он первый открыл его и привел нас к Бати. Его повсюду хорошо принимали в этих местах, кишевших пестрой смесью рас. Его присутствие в этом водовороте создало священный союз артистов, как бы фиксировало и выкристаллизовало его.



Анри Руссо. *Муза вдохновляет поэта (Мари Лорансен и Гийом Аполлинер)*

Речи Гильома давали внимавшей ему толпе поэтов и художников форум для выражения их собственных мыслей и чувств. Им казалось, что они слушают самих себя. Селясь всегда по соседству со своим кузеном Полем Фором, излюбленными местами которого были длинный «Буль-Миш» (бульвар Сен-Мишель), Бюлле, Люксем-

бургский сад и «Closerie des Lilas», Гильом раньше, чем мы успели оглянуться, расширил границы своего района от кафе «Двух обезьян», где некогда Джерри пожаловал его орденом «Простофили», до улицы де-Ренн и того места, где бульвар Распайль скрещивается с бульваром Монпарнас. Не довел ли он уже тогда своих разведок до Плезанс, где жил таможенный чиновник Руссо, и не была ли уютная улица Веселья некоторое время его главной резиденцией? В ту эпоху в числе его почитателей был и Мореас, — Мореас, царивший в «Halles» и «Вашет» и ничего не понимавший в этом новом умонастроении, но вынужденный признать его. Гильом затрагивал все области искусства; живопись и поэзия, как два благороднейших цветка, украшали его картонную корону, и, так как он был страшным кутилой, то в любое время вы могли найти его в кругу его свиты, оравшей: «Король пьет! Король пьет!» и протягивавшей свои стаканы, чтобы чокнуться с ним.

Кабачок «Маркизские острова» не был кабачком обычного типа. Он находился в ближайшем соседстве с полицейским комиссариатом, где поэт Райно выступал в защиту своих товарищей. Собиравшаяся в этом кабачке компания из начинающих художников, девчонок, натурщиц и сутенеров бывала до крайности польщена тем, что Гильом оказывает ей честь своим присутствием, и слушала его с открытым ртом, увлеченная блестящим его красноречием, когда он прославлял гений великого «таможенного чиновника».

Между тем, насколько я помню, Диноайе де-Сегонзак, Люк-Альберт Моро, Модильяни, все настоящие артисты, пользовались очень небольшим авторитетом у публики, посещавшей «вторники» в кафе Флоры. Первые двое успели с тех пор пробить себе дорогу. Модильяни уже нет в живых, но и он с течением времени занял то большое место, какое ему принадлежало по праву среди артистов его поколения.

XV

Как тяжело мне снова вызывать на этих страницах призрак нищеты, в которой до самой смерти бился несчастный Модильяни (или, как мы его называли, «Моди»)! Он жил сначала на Монмартре, потом его видели в «Ротонде» вечно рисующим в своей записной книжке, страницы которой он комкал и вырывал. Один купец поверил в его талант, сделал попытку «пустить его в ход», но это скоро ему наскучило, и он расторг договор. Да простится ему! Моди скитался в негостеприимном, чужом ему Париже, без денег, без надежд, с красным шарфом на шее, который должен был заменять ему пальто зимою, — и смеялся над небом и людьми как доведенный до отчаяния ребенок. Он боролся как мог. Он согласился, что-

бы другой торгаш запер его в какой-то погреб, долженствовавший служить ему ателье, и в обмен на все, что он успевал нарисовать за день, давал ему вечером несколько франков, да еще частенько приэтом брюзжал и бранился. Злой рок тяготел над этим благородным юношей. Он был красив, но алкоголь и невзгоды скоро уничтожили его красоту. Он был умен и интеллигентен, — и грубые животные сумели использовать эти его качества; он был горд и вместе с тем очень мягок, любил свое искусство, служил ему, предавался ему со страстью, а жизнь унижала его и издевалась, заставляла всякими способами искупать свою смелую веру в то, что художник должен жить лишь для своего призвания.

— Ты должна кормить художников, — сказал он однажды на улице «Кампань-Премьер» здоровенной итальянке, хозяйке трактира, где он обедал.

— А почему это я обязана их кормить?

— Потому, — отвечал Модильяни, — что художник не может зарабатывать себе на хлеб. Он рисует... а все остальное? Ба! Что нам до него? Посмотри!..

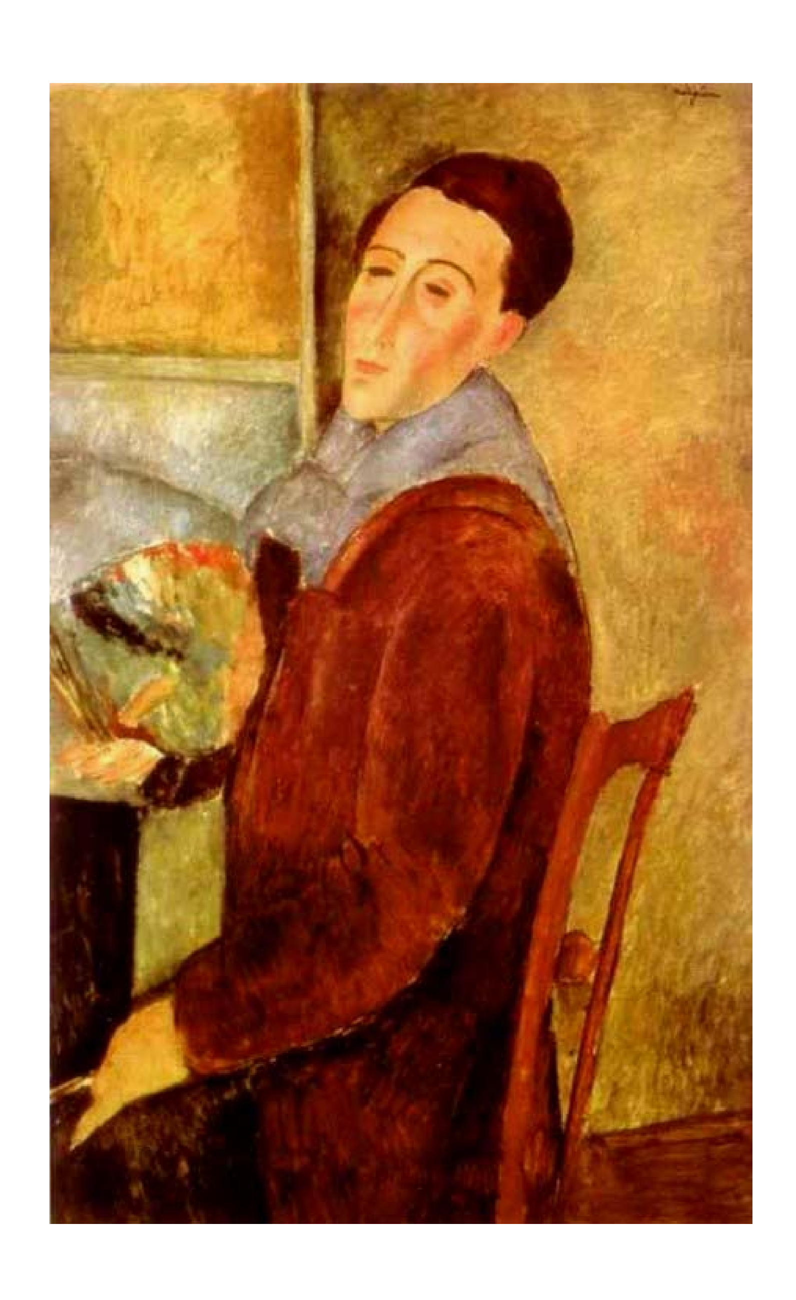
И, сделав в несколько минут замечательный набросок на стене, спросил со смехом:

— А это ты любишь? Нравится, а?

— Ну, ладно, садись и ешь, — смилостивилась наконец добрая женщина.

Посетители этой харчевни, каменщики, матросы в белых рубашках, молча рассаживавшиеся на скамьях, потеснились, чтобы дать место художнику. Они несколько стеснялись его, но находили, что он совершенно прав.

В течение многих лет, голодая, но выпивая, потому что всегда находится друг, который угостит стаканчиком, Модильяни влачил плачевное существование. Женщины, на которых производила сильное впечатление его замечательная красота, очень быстро в него влюблялись. То были большей частью иностранки или совсем простые девушки. Но Моди бросал их раньше, чем они успевали его привязать к себе. Он рвал все, что ему казалось цепью, и продолжал таскаться, пьяный, по кабакам. Я не раз встречал его там по вечерам, неизменно с карандашом в руке. Это был брюнет, итальянское происхождение которого сказывалось в его страсти к бесконечным спорам, к политике, к искусству и... к вермуту. Его бархатный, потертый на швах костюм, шляпа с большими полями, шелковый шейный платочек, живость его восклицаний, произносимых громким голосом, его смех, при первых же раскатах переходивший в кашель, — привлекали всеобщее внимание. Но Модильяни это было решительно все равно. В нем не было ни капли тщеславия и мелочного самолюбия. И, когда, огорченные его ужасной нищетой, мы делали осторожные попытки предложить ему помощь, он не принимал



Амедео Модильяни. *Автопортрет*

ее только потому, что весьма легко относился к лишениям и невзгодам своей жизни.

Выставка работ Моди у m-lle Вейль принесла ему первый успех. Но какое волнение на всей улице! Голые тела на его картинах, которые можно было видеть с улицы, привлекли тотчас же любопытных. Телеграфисты, старые джентльмены в белых гетрах, мальчишки-пирожники, буржуа, посыльные, толпившиеся перед магазином, буквально давили друг друга, стремясь пробраться поближе, а явившийся наводить порядок агент, приблизившись к витрине, заявил, что это скандал. Эпическое происшествие! По распоряжению агента m-lle Вейль пришлось проследовать в участок, где она напрасно пыталась защищать Модильяни. Ничего не помогло. Толпа любопытных препятствовала уличному движению, и по этой причине прекрасные полотна бедного Моди должны были быть сняты со стен, и ему не удалось продать, даже за самую низкую цену, хотя бы одну из своих работ.

Но однажды, по неожиданной прихоти судьбы, обычно немилосердной к этому большому артисту, Модильяни нашел себе настоящего друга, который, и сам терпя такую же беспросветную нужду, принялся обивать все пороги в Париже, поклявшись, что добьется славы для Моди. Этот друг никогда в нем не сомневался. Чтобы помочь ему, он продал свое платье, свои часы, башмаки, ночевал на улице в зимнюю стужу и занимал для Моди под невозможные проценты небольшие суммы. Друга Моди звали Зборовский. Он был еще тогда поэтом и жил на улице Жозеф-Бара в узкой конурке, куда Модильяни часто приходил ночевать, приводя в смятение весь дом. Как Зборовский любил своего друга-художника! Как понимал его и восторгался им! Он во всем себе отказывал ради Моди, — в табаке, в пище, в угле для печки. И мало-помалу, ценой ужасных испытаний и тяжких усилий, ему удалось снабдить друга холстом, красками, раздобыть для него убогую мастерскую и пару сотен франков, что дало возможность художнику перейти от голодания к недоеданию.

Рассказывать ли? Когда придешь, бывало, навестить Зборовского, он бежит в лавку покупать свечку, потом, воткнувши ее в бутылку, вводит гостя в свою узенькую конуру без мебели, какую-то голую и унылую, где в углу нагромождены были полотна художника. При свете свечи Зборовский показывал вам свои сокровища, любовно поглаживая их рукой, лаская их глазами; потом начинал рассказывать, горячась, проклиная судьбу, преследовавшую Моди, осыпавшую его несчастьями и обидами. Чем больше он кипятился, тем легче лились из его уст слова, выражавшие великий восторг, страстное преклонение перед этими произведениями, этюдами голых тел, написанными без всякой школы, но поразительно талантливо и в характерной для Моди манере.

— Сколько здесь поэзии! — в экстазе восклицал Зборовский.

Он останавливался, потом снова принимался шагать по комнате и продолжал отрывисто:

— Поверите ли… Я на днях носил к торговцу пятнадцать картин и просил за них совсем пустяковую сумму… О, очень мало… чтобы дать ее Модильяни… А торговец не хотел… Он мне сказал: «Убирайтесь со всем этим… Я не покупаю»… Отчего? Я бы оставил все пятнадцать работ даром… если бы они хотя бы ему понравились… Но нет… и никто их не берет!.. Никто… Боже, какие идиоты! Они еще не привыкли… Но вы увидите… Придет время, скоро, очень скоро… и они будут дорого платить за эти картины, которые они не хотят брать сейчас… Они пожелают иметь все, что написал Модильяни… А пока у него нет денег, и он мучается, на него больно смотреть…

— Вот что, — сказал я ему однажды после таких излияний. — Продайте мне этот этюд, хорошо?

— Он вам нравится?

— Да, он очень хорош.

Зборовский испустил крик радости и затем, подойдя со свечой к картине, горячо сказал:

— Взгляните, как великолепно написано… Как верно… О, восхитительно!.. Не правда ли?

Я видел это и без его пояснений.

— Ну да, Зборовский, я же говорил, что согласен с вами. Это — шедевр.

Он повернулся ко мне, отложив в сторону указанную мною картину:

— Нет, в а м я не хочу продавать… Я ее вам дарю, возьмите… потому что она вам нравится…

— А как же с деньгами для Моди?

— Нет… берите ее, я так рад, что она вам нравится… Не беспокойтесь о деньгах… Завтра сюда обещал прийти человек, который купит мой костюм, он дает 20 франков. Этого хватит для Моди.

И он проводил меня до моей квартиры, неся этот замечательный этюд и упорно отказываясь принять хотя бы ту маленькую сумму, какую я, не будучи богат, мог предложить ему.

Это была первая приобретенная мною картина, и прислуживавшая мне консьержка (я жил тогда на набережной О-Флер), увидев на следующее утро эту картину над моей кроватью, чуть не упала мертвой от потрясения.

* *
*



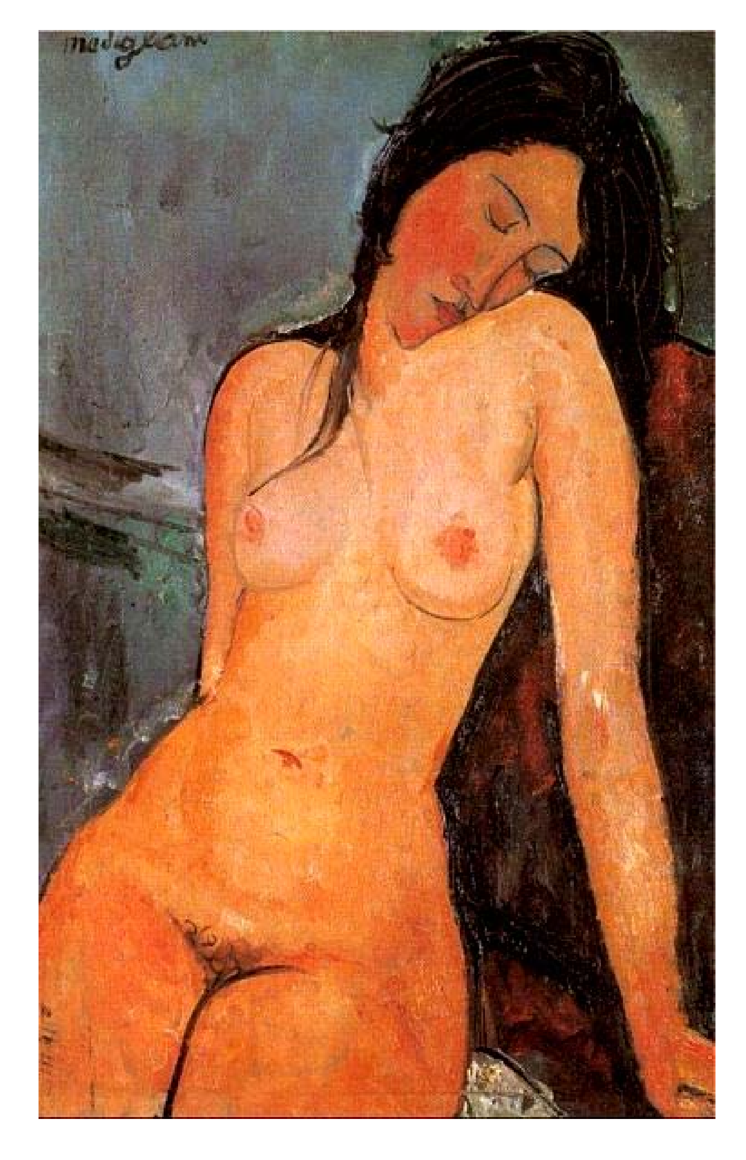
Амедео Модильяни. *Портрет Леопольда Зборовского*

Бедный Моди! Прошло почти пять лет раньше, чем самые тонкие и просвещенные любители живописи, один за другим, начали допускать его работы в свои коллекции. Они не слушали Зборовского. Они смеялись ему в глаза или совсем его не принимали, даже оскорблялись кажется, что над ними смеют издеваться, восхваляя такие картины! Зборовский, однако, не обращал на это внимания. Он оставлял картину, возвращался, спорил; так продолжалось до того дня, когда, движимый сочувствием и преклонением перед творчеством Моди, я послал в Женеву, в журнал «L'Eventail» статью, которая обратила на себя внимание двух-трех швейцарских коллекционеров.

Пользуясь разницей в курсе, они купили за гроши у Зборовского этюды Модильяни.

То его произведение, которое висело в моей комнате, наполняло меня восторгом; но этого восторга не разделял никто из моих друзей. Все ругали меня дураком, кретином, олухом... Я не мешал им смеяться надо мной, сколько душе угодно, и, не давая себя убедить, старался сэкономить немного денег из моих жалких доходов, чтобы купить у Зборовского еще несколько работ Моди. Зборовский же, уступив их мне, кричал об этом на всех перекрестках, счастливый, что нашел сочувствующую душу.

Какой опьяняющий восторг я, помню, испытал, проснувшись однажды утром в своей комнате на набережной О-Флер среди этих обнаженных тел молочного и оранжевого цвета, под взглядами их прищуренных глаз! В два угловых окна лился утренний свет и открывался веселый и полный свежести вид на Сену. Крики грузчиков, свистки буксиров, дымок, трещание моторов на реке, — все было как сонная греза. Летом я всегда испытывал это легкое и сладкое опьянение, когда в открытые окна льется солнечный жар, а от Иль-Сен-Луи доносится запах больших деревьев, залитых золотым блеском, шумящих под утренним ветерком. Сквозь полуопущенные ресницы я видел голубое небо, зеркальную поверхность воды, которая отбрасывала на потолок сверкающие блики. Порою, как холодно-нежная ласка, скользнет по прищуренным глазам тень пролетевшего голубя: один мягкий взмах крыльев — мелькнет и исчезнет. Все было для меня радостью. Все меня занимало, и с безмятежным спокойствием и ясностью на душе я долго нежился в постели, и моя собственная юность и юность этого прекрасного, сверкающего дня беззаботно улыбались друг другу. Чего лучшего мог бы я желать от жизни? Как влюбленный радуется, что женщина, которая ему дорога, живет, дышит рядом с ним, так я радовался присутствию в моей комнате этих обнаженных созданий кисти Модильяни. Они жили; они меня волновали все более по мере того, как солнце подымалось и заливало их заревом лучей.



Амедео Модильяни. *Сидящая модель*

Если я узнал во всей его полноте счастливое волнение, которое является для истинной любви тем, чем для стихотворения — его музыкальный ритм, то этим я обязан Модильяни. В те часы я думал об его ужасной жизни, о его страсти к живописи, — и, когда я закрывал глаза, мне чудилось, что он здесь, стоит у постели, глядит на меня и спрашивает, как спрашивал как-то в зимнюю ночь, полупьяный:

— Ты?.. Ты любишь мои картины? А? И за что?.. Они тебе понятны?.. Нравятся?.. Как женщины?.. Ха, ха, ха! Да, это так.

Каждое утро меня ожидало то же удовольствие. А если я делал новое приобретение, я просыпался десять раз в ночь, зажигал лампу и погружался в созерцание, полное для меня невыразимого наслаждения. Это походило на колдовство, на зачарованность, настолько своеобразную, богатую оттенками, насыщенную сладострастием, что

я с искренним сожалением вспоминаю ныне те дни, когда, не имея ничего, я чувствовал себя богаче всех на свете посреди этих полотен и разбросанных листов моего первого романа.

* *
*

В доме, куда случай привел меня года за два до войны, жил когда-то Макс Жакоб, — и консьержка еще отлично его помнила. Что за странная женщина была эта консьержка! Обо всем решительно у нее имелось авторитетное мнение, и она очень любила давать советы. Заставая меня часто лежащим на кровати, среди невероятного беспорядка, она говорила:

— Напрасно вы, м-сье, постоянно их меняете... Нет, нет это нехорошо!.. И хотите знать мое мнение? Та маленькая дама, что была вчера, гораздо лучше сегодняшней!

— Занимайтесь лучше своим делом!..

— Как угодно, м-сье... А что касается этих картин... Нет, можно ли себе представить что-нибудь подобное?

— Да будет вам! Замолчите!

— Нет, не замолчу!

И эта милая особа начинала сравнивать работы Модильяни с гравюрами в квартире господина из четвертого этажа: на тех по крайней мере можно что-нибудь разобрать, а эти ужасные бабы...

— Э т о вы называете красотой? — восклицала она. — О, господи! Да они похожи на...

— Что-о?!

— Да, да, м-сье, на...

Я вскакивал с постели и выгонял консьержку вон из комнаты. Она с достоинством выплывала за дверь и уже там начинала вопить о помощи.

— Убирайтесь к чорту, — орал я в свою очередь, — и оставьте меня в покое!

— Очень хорошо, нечего сказать!

— Вы слышали, что я сказал?

— А ваша почта, —- кто ее вам принесет, раз вы меня прогоняете?

— Так ступайте за почтой, — отвечал я, — но чтобы я вас не видел здесь больше! Суньте ее под дверь.

— Понимаю, — кивала головой старуха.

И, очень пунктуальная, она в ту самую минуту, когда я пытался начать работать, взбиралась на цыпочках на лестницу и подсовывала, как я требовал, под дверь почту. Однажды, после такой перепалки, я рассвирепел, найдя под дверью бумагу, на которой большими буквами было написано:

«Первая почта: НИЧЕГО!»

В другие разы — и тогда я уже только смеялся, — рвение моей консьержки доходило до того, что она на страницах моих рукописей писала мне разные чисто материнские наставления.

«М-сье, — прочел я однажды, — принимайте настой померанцевых листьев в горячем виде. Настой из померанцевого листа помогает уснуть».

Поверите ли, эта женщина, — под предлогом уборки и заботы о моем хозяйстве — входила ко мне, не стучась, когда ей было угодно, и, если видела меня за столом, бормотала с восхищением:

— Как, вы работаете?! О! Дайте мне постоять тут и полюбоваться на вас, м-сье ... Я вам не буду мешать... Позвольте!.. Это такое редкое зрелище ...

Я мог сердиться или нет — она все равно не уходила. Иногда я в гневе одевался и выходил, а консьержка, пользуясь моим отсутствием, водила в мою комнату жильцов дома, ища сочувствия своему возмущению «ужасными» картинами Моди.

То, что она рассказывала им про меня, превосходило самую изощренную фантазию. Я, по ее словам, был чудовищем, не платил ей за работу, волочился за нею — и так далее и так далее. Она не уставала изображать меня всем в таких заманчивых красках, что соседи бегали от меня как от чумы. Никто из них не отвечал на мои поклоны. На меня просто пальцами указывали. А если мне случалось возвращаться домой утром и навеселе, m-me Делескалье отмечала это событие дикими воплями и, запершись в своей узкой каморке, чтобы меня пристыдить, подражала походке пьяного и грозила мне кулаком.

Несмотря на все это, она была прекрасная женщина и трогательно заботливая. Она, например, способна была специально подняться наверх, если утром морозило, чтобы предупредить меня:

— Наденьте сегодня теплое пальто, сударь, потому что ужасно холодно...

А если я на несчастье кашляну при ней, она мчалась в аптеку и возвращалась с огромной бутылкой какого-нибудь отвара, с горчичниками, с мазью, с порошками аспирина, с микстурами и с двадцатью какими-то снадобьями, за которые я потом должен был платить аптекарю.

XVI

В названии той набережной, где я жил, имеется тринадцать букв. И, так как я жил как раз в доме номер тринадцать, Макс Жакоб уверял меня, что это сулит удачу. Да, да, большую удачу... Я быстро заразился от него суеверием. Направо от нашего дома, по набереж-

ной, в доме Элоизы и Абеляра, теперь находилось... полицейское бюро! В этом доме жили поэт Жан Дорсэн и гравер Луи Жу. Часто я ожидал появления Жу на балконе, чтобы в зависимости от этого распределить свой день. Если же он не показывался, я загадывал что-нибудь, глядя на четырех диких уток, выделявшихся под бледным зимним небом на поверхности воды как чернильные пятна; я считал шаланды, перекликавшиеся на ходу с маленькими, неуклюжими и пыхтящими буксирами... Четыре шаланды... Четыре утки... и Луи Жу... Я искал в этом каких-то предзнаменований. А то я, вместо уток, считал пуговицы, недостававшие на моем костюме, — и проникался радостной уверенностью в удаче.

Увы! Сколько я, вопреки всем этим благоприятным предзнаменованиям, перенес разочарований, вежливых отказов со стороны издателей! Сколько понадобилось упорства, чтобы не пасть духом! Я не унывал. Я обивал пороги журналов, предлагая рассказы, за которые мне, если их брали, платили по сто су. Я писал поэмы. Я радовался жизни. Какое счастье — жить! Пускай меня выпроваживали отовсюду, куда я являлся со своими произведениями, — это не имело значения! Я выбрал свою дорогу и, глотая все эти неудачи, не отчаиваясь, весело говорил себе: «Придет мой день!» — и не думал о неудачах.

Если бы только не сроки платежей, которые меня всегда заставали без гроша в кармане и вынуждали занимать деньги у Гюбера или у моих знакомцев с улицы Бучи, — я чувствовал бы себя счастливейшим из смертных. Но, впрочем, что платежи? Выпутываться я привык, а Гюберу, выручавшему меня, я платил не деньгами, а песнями. Не терзаться же мне теперь по этому поводу? Пожалуй, оно было бы поздновато! Да к тому же все мы в то время переживали такие затруднения, даже сроки платежей у нас, совпадали, — и никогда, ни разу, не жаловались на жестокость судьбы, потому что твердо верили, что придет время — и она нам улыбнется.

Помнишь ли, Марио, ту ночь под Рождество, когда мы сидели битых три часа на террасе «Двух обезьян» перед кружкой холодного, как смерть, пива, дрожа от стужи и мокрые до нитки? Лил дождь. Ну, и ночка была! Она крепко врезалась мне в память. Ты обыкновенно ночевал у Родэна, у которого служил секретарем, в Медоне, среди мраморных статуй, и, просыпаясь, пугался их. Но Родэн тебе отказал от места, и у нас оставался один франк на двоих. Да. И все-таки — это была прекрасная ночь! Такая пустынная, с ее огнями таксомоторов и фиакров, мчавшихся мимо во мраке, такая горьковато-влажная! В воздухе носился запах каких-то растений. Быть может, это был аромат мокрых от дождя каштанов на бульваре. Мы проходили мимо колбасных, засунув руки в карманы, не останавливаясь, потому что вкусный запах щекотал нам ноздри. Мы были молоды. Мы говорили о наших книгах, о друзьях. Мы читали друг другу вслух стихи. Влажный ветер, огни, черные улицы квартала

нас возбуждали до такой степени, что мы забывали о своей бедности и уносились на крыльях надежды.

Помнишь ли... Но к чему вспоминать? Мы пережили столько таких ночей, что одной больше, одной меньше — не все ли равно? «Такова жизнь», — сказал кто-то, — и он был прав.

Если бы мы захотели считать утраченные мгновения, мы оба никогда не кончили. И все же — я не забыл ничего из наших восторгов, наших увлечений, наших порывов, наших излияний — и искренней дружбы, которая нас связывала, связывает и поныне. Что было нам за дело до дождя, до ветра, до зимней стужи, до лишений и разочарований каждого дня? Они не имели над нами власти, не устрашали нас. Дорэн, однажды вечером, поделился со мной своим планом:

— Если все будет идти дальше так же, как теперь, я сяду на мой велосипед и укачу в Марсель на месяц, чтобы переменить климат.

— В Марсель?

— Да, а то в Касси.

Мы же не могли уезжать так далеко, потому что у нас не было велосипедов. И нам оставалось, не «переменяя климата», дышать все тем же воздухом улицы Бучи.

В ту пору в нашу компанию затесался один прелюбопытный малый, который особенно заинтересовал меня благодаря своей скрытности и загадочному виду. Он писал статейки в маленьких журналах и газетах под полным таинственности псевдонимом «Zavié», который в типографиях упорно переделывали в «Zavie». И мы все шутя стали звать его «Za la vie—Za la mort». Эта кличка так понравилась нашему новому приятелю, что он милостиво на нее отзывался, а в виде реванша называл меня зловещим тоном «Франсис Карцер» и делал мне гадости.

Это была его слабость. Он любил подводить других и хохотал только, если его проделки удавались. Прядь волос, свисавшая ему на лоб, его рассчитанная холодность придавали Эмилю Зави странное сходство с Наполеоном в молодости. У него был быстрый и проницательный взгляд, выправка и застенчивость — как у какого-нибудь младшего офицерика, и, если он иногда изменял своей обычной замкнутости, то быстро спохватывался. Мы знали о нем очень мало, вернее — ничего. После полудня он работал у Бернуара, правил корректуру, говорил мало, покидал нас около шести часов и исчезал до следующего утра, а утром являлся снова в типографию со своей неизменной сигарой в зубах. Если он и писал когда-нибудь украдкой стихи, он их никому не показывал. Да что стихи! Он едва решался указать ошибку или придать более правильный оборот фразе, когда типографы спрашивали его мнения. Когда Бернуар выпустил в свет маленькую книжонку под названием «Сожаления об утраченном», Зави сказал: «А не лучше ли было бы не писать ничего?»

Бернуар его раздражал и возмущал своими небрежными и развязными манерами, и я должен сказать, что разница в характере этих двух замечательных джентльменов была весьма комична. И, когда Зави говорил о Бернуаре, голос его обрывался от волнения. Он, всегда такой спокойный и сдержанный, размахивал руками так, что нельзя было удержаться от смеха.



Неизвестный художник.
Портрет Эмиля Зави

Как-то раз, когда я начал его уговаривать легче ко всему относиться, Зави пробурчал:

— Пойдем, выпьем стаканчик.

И потащил меня за рукав по улице, не отпуская до той минуты, пока мы не очутились в глубине темной улицы Сены, перед какой-то убогой закусочной. В царившей там тьме я разглядел деревянные столы без скатертей, расшатанные скамьи, стойку, уставленную тарелками и бутылками. Зал походил на трапезную какого-нибудь монастыря. На полу — опилки. На стенах — беловатые мертвые отсветы, проникавшие сквозь крошечные оконца и вызывавшие какое-то противное оцепенение.

— М-сье Зави? — произнес сонный голос. — Вы, уже!

— Я не завтракать пришел, еще не время, — отвечал мой спутник. — Но зажгите-ка газ, пожалуйста, и дайте нам вина!

Зажгли газ.

— Здесь премило, — заметил я, чтобы прогнать тягостное ощущение, которое вызывала во мне эта пещера. — Довольно чисто... я и не знал...

— А я давно знаю, — резко сказал Зави.

Он вздохнул и добавил:

— Вот уж пять лет я здесь столуюсь. Надо иметь крепкий желудок, чтобы выдержать это.

— Еще бы!

— Пять лет!..

Он наклонился ко мне и сказал тихо:

— Я называю это не «есть», а «кормиться». А затем — я регулярно хожу к Гавасу, чтобы за ночь заработать столько, сколько мне нужно на комнату, прачку, еду. А ты бы мог так?

— Как здесь уныло!

— Да. И сыро. Вообще — отвратительно. Сюда приходят только несчастные, неудачники, бедняки, которые пьют здесь эту омерзительную кислятину. За твое здоровье!

Кислятина действительно была омерзительна.

— Да, — продолжал он с видом мрачным и надменным, когда опустели наши стаканы, — вот так и живу, видишь ли... утром — пишу для себя, после полудня — строчу у Бернуара, а с шести до двух-трех часов ночи — работаю в Агентстве.

— Но как тебя хватает на все это?

— Ничего не поделаешь, нужно!

Я был поражен, поняв вдруг, какой ценой мой приятель платит изо дня в день за право жить вне мира реальностей. Он мне показался в эту минуту так непохожим на других, что я не смел больше смеяться и пожал ему руку.

Да и не до смеха мне было. Тошнотворный запах, царивший в этой казарме, душил меня, вызывая тоскливое беспокойство. Я говорил себе, что Зави пошел по ложному пути, что он не прав, предпочитая риску это убогое существование, принимавшее его. В его возрасте люди бросаются, очертя голову, в воду и не думают о свиной котлетке. Если эти котлеты к ним приходят — хорошо, если они не приходят — мы не ставим в зависимость от этого свою жизнь и помним, что, чем крупнее риск, тем крупнее удача. Отчего бы не надеяться на удачу? Это значило бы сдаться раньше времени. Я попытался изложить свое мнение Зави.

— Да, ты так думаешь? — усмехнулся он.

— Я убежден в этом!

— Ну, для тебя-то это, может быть, и возможно, — с горечью сказал Зави.

— И для тебя тоже. Попробуй!

— Нет.

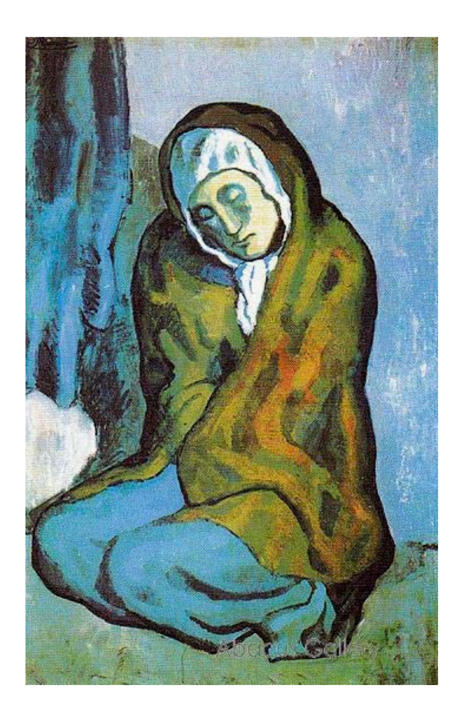
— Послушай! — вскричал я. — Я издыхал с голоду, как и другие, и это меня ничуть не запугало. Попытайся — и увидишь, что никто в конце концов не умирает от такой жизни.

— Возможно, — отвечал он.

И, подозвав жестом служанку, он попросил убрать бутылку и стаканы, потом, так как наступал час его завтрака, он посмотрел меню и заказал:

— Супное мясо с капустой и чашку кофе.

Боже, как быстро я после этой ночи научился видеть насквозь Эмиля Зави, все его мины, позы, его романтическую таинственность и манеру избегать всяких объяснений! Теперь у меня ко всему этому был ключ — и я не видел в его тайне ничего ни необычайного, ни положительного, напротив. Чем больше я журил моего приятеля, тем больше он от меня отдалялся. Однажды вечером, в Сен-Жерменском сквере, меня взволновал один его жест: он нашел подле скамейки на земле 20 су и положил их в карман.



Пабло Пикассо.
Нищенка

— Двадцать су!! — вскрикнула с завистью нищая, которая видела, как Зави поднял монету.— Да, — отвечал Зави. — А почему это вас так удивляет?

— А мне, — сказала женщина, — мне никогда еще не удавалось найти больше двух су... Я ищу... и иной раз, случайно ...

— Да, двадцать су — это недурно!

— Еще бы!

И, так как я ожидал от этого странного человека поступка, который бы возвысил его в моих глазах, он вынул 20 су из кармана,

удостоверился, что монета — настоящая, и с большим самообладанием заявил:

— А я всегда нахожу не меньше двадцати франков, в противном случае я не считаю нужным себя утруждать.

И, думая, что я не вижу его забавного маневра, он бросил монетку на землю, к ногам нищей, и зашагал прочь с весьма «стендалевским» видом.

Вот каковы мы были! Кто бы ни являлся нашим идолом — Стендаль или Вийон, мы скорее дали бы себя разрубить на куски, чем отреклись от этого бога, в служение которому мы вносили большую искренность и бескорыстие. Всегда, во всякий час дня и ночи, это служение стояло для нас на первом плане, — и не знаю, краснеть ли нам за себя, или скорее мы имеем право с законной гордостью сказать себе, что то было славное время, и упомянуть его вздохом сожаления и улыбкой.

К чему лгать? Без этой восторженности, этих увлечений жизнь была бы для нас не более как длинной и печальной цепью всякого рода испытаний, тягот, лишений, бессмыслицы, и не раз мужество изменяло бы нам. Мужество? Смысл жизни, а с ним и это горькое убеждение, что для литературной карьеры требуется не столько дельная голова, сколько желудок страуса и дубленая кожа.

Фредэ нам преподал эту истину, начертав на ставнях «Кролика» следующее изречение:

«Первая обязанность порядочного человека — иметь хороший желудок».

Правда, то было на Монмартре, но мы сохранили в памяти этот урок, и он нам пригодился.

Когда Ролан Доржелес, однажды вечером, встретил меня, слоняющегося по Парижу без гроша за душой и, приведя в редакцию «Homme Libre», устроил там в качестве художественного критика, разве я взял бы эту работу за 50 франков в месяц, если бы не помнил уроков Фредэ? «Тигр»[17] платил очень мало. Ну, так что ж? Все же это были верные 50 франков ежемесячно — и я был очень доволен. Андрэ Билли работал в той же газете. Он-то, без сомнения, зарабатывал гораздо больше и в своих роговых очках казался человеком, не склонным к кипениям и волнениям. Его элегантность меня ошеломляла. Его холодные и вежливые манеры, любезность, которую он не старался выставлять напоказ, наши беседы, когда мы возвращались вместе пешком с бульваров на левый берег, дали мне определенное представление об этом человеке. Но как трудно было приноровляться к натуре совсем иного склада, чем моя! Мне это никак не удавалось. Билли же мудро, солидно умерял мой пыл, и под его влиянием я стал меньше растрачивать себя.

---

[17] «Тигр»—прозвище Клемансо, редактора «Homme Libre».

Ах, эта стряпня в «Homme Libre»! Сотрудничал там и Жан Пеллерен — составлял «литературную хронику» на второй странице, рядом с той, которую писал я — по вопросам живописи. И эти 50 франков в месяц, получаемые за ежедневные статьи, казались нам верхом благополучия, потому что, кроме всего прочего, они давали нам возможность встречаться раз в день в бюро Клемансо.

Доржелес, Билли, Пеллерен... А скоро я включил в число моих друзей и Адриена Бертрана. Он был слишком поэт, чтобы удовлетвориться работой в газете, и писал «для души» стихи, которые печатал в никому неизвестных маленьких изданиях, не имевших ни читателей, ни тиража. Это была крупная фигура, Адриен Бертран, — и, кроме того, он был мне верным товарищем в среде, где все, кроме секретаря редакции, Гомболя, меня едва терпели. Мы были прежде всего поэтами, нас тянуло друг к другу, и на свою работу в газете мы смотрели как на ремесло, на средство зарабатывать хлеб — и только. Между тем как другие сотрудники, сильно втянувшиеся в журналистику, думали прежде всего о выгодах и преимуществах такого рода деятельности и не собирались ее менять на чисто-литературную.

На мое счастье, тогда только что появился в журнале «Mercure de France» мой роман «Jésus la Caille», и это в глазах патрона делало меня уже не любителем, не писакой, а настоящим писателем. Однако мой роман не особенно высоко котировался в этой среде, и Адриен Бертран, написав о нем статью, долго не мог добиться, чтобы эту статью напечатали. Он сердился, объявил главному редактору, что уйдет из «Homme Libre», если его статью не пропустят, — и только тогда ему уступили, — и моя слава еще более возросла. Из хроникера я в то время превратился в репортера. Меня командировали в предместья, чтобы собирать материал и описывать затем в ярких красках преступления, несчастные случаи, самоубийства. Меня гоняли к крупным торговцам жемчугом, о которых «говорили», к политическим деятелям, к консьержам, к мошенникам, на кладбища, куда хотите! Я интервьюировал забастовщиков, которые не желали отвечать, генералов, посылавших меня к чорту, а когда злобой дня стало похищение «Джиоконды», меня командировали и к самому господину Бонна, который не дал мне вымолвить слова и с позором выгнал вон.

Миленькая профессия! Я бегал день и ночь, а мои репортерские заметки не имели успеха, так как вместо того, чтобы информировать читателей, как они ожидали, я пускался описывать свои впечатления, очень, конечно, любопытные, но никого не интересовавшие. И после каждой заметки мне «влетало» от начальства.

Случилось однажды, что после длительной кампании, предпринятой президентом по поводу каких-то флагов, которые какой-то адмирал распорядился поднять на наших судах в страстную пятницу, выяснилось, что подобного рода приказ действительно появился в газете «Крест». Какая удача для нашей лавочки! Патрон лико-

вал. Мандель, похожий на удлиненную тень низенького Клемансо, потирал руки, а пять-шесть бывших министров, действовавших за кулисами, готовились нанести серьезный удар. Вся пресса, наэлектризованная статьями, полными яда, была заинтересована удачей нашего патрона. Повсюду только об этом и говорили, зубоскалили, и среди такого ажиотажа я один, в простоте души, не имел понятия обо всей этой истории.

— Карко! — окликнули меня. — Надевайте пальто и шляпу и мчитесь в «Крест».

— Хорошо, — сказал я. — А зачем?

— Привезите тот номер, где напечатан приказ.

Я посмотрел на Франсуа-Альбера, который командовал всеми, несмотря на свой мальчишеский вид, и спросил самым невинным образом:

— Какой приказ?

Это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. На меня набросились с упреками, меня стыдили.

— Журналист, который не читает газет! Да вас самих бы следовало пропечатать в газете!

— Начнем с «Homme Libre», — сказал Франсуа-Альбер. — Не правда ли, вы никогда и не заглядываете в него?

— Никогда.

— Это вас не интересует?

— Как сказать... — попробовал я вежливо увернуться от прямого ответа. — Это меня интересует... да... Но чего вы хотите? Каждое утро читать передовую патрона — это меня прямо- таки убивает. Он вечно всем недоволен. Он всегда бранится. Понимаете, я встаю обыкновенно в хорошем настроении... потерять его от этого вечного брюзжания... Это ужасно.

— Надо быть журналистом или не быть им совсем, — вступился медовым голосом Мандель, который незаметно для меня вкатился в комнату. — Вы будете читать Клемансо, мой милый... или...

Что я мог возразить? Я был вынужден покориться, но через неделю, возненавидев весь мир и себя самого, я пришел к Франсуа-Альберу, который теперь каждый вечер экзаменовал меня, спрашивая содержание очередной передовой, — и с грустью заявил:

— Это невозможно ... Клянусь вам, я сделал все, что в моих силах... Но продолжать так... спасибо!.. Я предпочитаю совсем оставить службу.

И я подал заявление об уходе.

Итак, я был снова свободным человеком и на следующее утро глядел из моего окна на Сену, тысячью серебряных струек сверкавшую между набережными, на деревья, на ослепительное небо. Я был свободен, меня ничто не связывало более! По утрам я взбирался по маленькой лесенке к моему соседу Дараньесу, который смиренно

трудился над своими гравюрами по дереву, а перед ним расстилалась голубая гладь реки, и проплывали суда одно за другим.

Какая благодать! Прекрасные книги, труд, который дает радость, в тишине, вдали от политики, от тех идиотских обязанностей, которые я нес до сих пор... О, теперь я знал мой путь, и Дараньес, показывавший мне свои первые работы, принялся за серию рисунков для «Jésus la Caille». Они и теперь у меня. Они — редкость. Они — большая редкость, так как из них ни один не был издан. Но во мне говорит не библиофил, а признательный друг, который хотел рассказать здесь, как много он получил доказательств глубокой и постоянной привязанности от другого человека, как благодарен он за этот единственно ценный в жизни дар и с каким умилением вспоминает о нем.

XVII

Итак, я снова был вольной птицей, и мне оставалось существовать на то, что я зарабатывал статьями о живописи, стихами, отчетами о выставках, которые Вокселль печатал на страницах «Жиль-Блаза». Валетт в «Меркурии» первый утвердил за мной звание писателя. Я был на седьмом небе. Но тут наступил конец июля и принес ужас и ошеломление. Вспыхнула война, ужасная война. Словно вихрь пронесся, и все заколебалось, закружилось, смешалось. В редакции «Жиль-Блаза» нас с Жаном Пеллереном и Андрэ дю-Френуа охватило какое-то хмельное возбуждение, погнало, как и других, на улицу, вмешало в ряды молодых людей, шедших с пением на смерть, не думая о ней.

Но женщины — те уже ощущали ее дыхание повсюду вокруг себя и были серьезны. По бульварам двигались бесконечные шествия с плакатами и знаменами, и громкие крики звенели в воздухе. Впереди демонстрации бежали мальчишки-поварята, посыльные, мчались велосипедисты, какие-то старики, неистовствовавшие от воодушевления, жалкие и трагические. И посреди всего этого возбуждения неслась лавина людей, ведомых своей судьбой мимо запертых магазинов, мимо кафе, кишевших публикой, и во всю глотку, раздельно, гремела:

— На Берлин! На Берлин!

Пока проходили перед нами эти черные, жестикулирующие массы чиновников, комми, рабочих, буржуа, тесно сплоченные, объятые невыразимым воодушевлением, солнце склонялось все ниже, день угасал. Но в сером свете сумерек, подымая густые облака пыли, все новые и новые ряды выливались из улиц, переулков, со всех сторон и сливались друг с другом. Их приветствовали кликами на пути:

— Да здравствует Франция! — орала толпа зрителей.

— Да здравствует Франция! — крикнул, стоя на стуле, Андрэ дю-Френуа.

Он обнажил голову и, страшно бледный от волнения, провожал глазами дефилировавших мимо людей всех сословий, которые, отвечая на приветственные клики, при выходе на площадь Оперы затянули охрипшими и мужественными голосами:

Победа с пением откроет нам дорогу,
И поведет свобода нас.

— Андрэ! — позвал Жан.

Дю-Френуа не слышал. Все еще стоя на своем стуле и всем существом сливаясь с этой толпой (это он-то, всегда презиравший стадные чувства и признававший лишь власть разума!), он в эти мгновения составлял с нею одно целое и готовился принести и свою жертву. Тогда Жан Пеллерен, охватив меня руками, прижался ко мне и шепнул тихо, указывая на нашего друга:

— Взгляни на него... Взгляни! Он не вернется!

— Что ты говоришь? Вернется, конечно!

— Нет, нет! — повторял Жан, охваченный скорбным предчувствием.

Он взобрался на тот же стул, на котором стоял Андрэ, обнял его, и так они стояли рядом в течение целого часа. Столько тоски было в этом братском объятии, что дю-Френуа, видимо, понял что-то и перестал кричать.

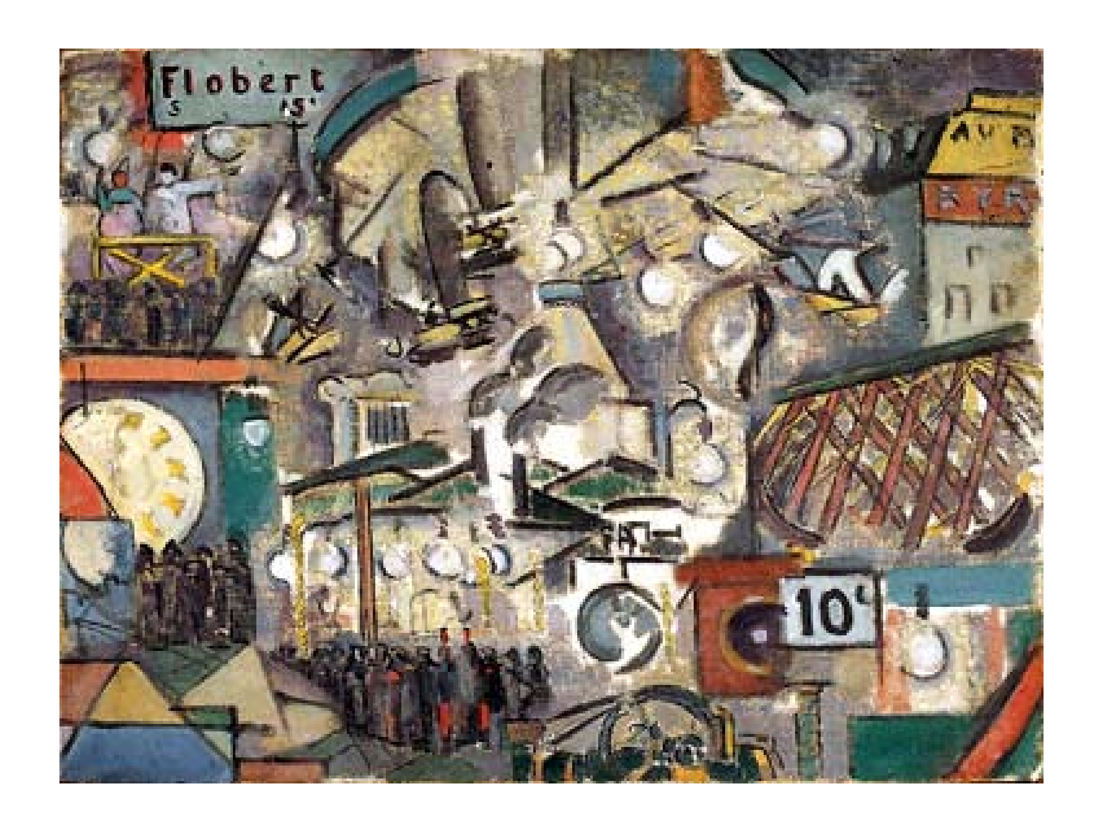
Рядом со мной, оглушенная аплодисментами, подобно взрывам тысячи митральез, гремевшими на террасе кафе Наполитэн, стояла подруга Андрэ дю-Френуа, неподвижная, немая. В эту страшную минуту не предчувствовала ли и она, что Андрэ будет скоро убит? Я не смел заговорить с нею, но, когда оба мои товарища соскочили со стула и бросились к нам, мое впечатление перешло в уверенность. Мы распрощались.

Да не подумают, что это только теперь, — увы! — после печального исчезновения дю-Френуа,— я говорю так. Его больше не было среди нас! Из-за мутных стекол его лорнета глаза Андрэ в тот день глядели так странно! Этот взгляд, больно сжавший мне сердце, еще доныне преследует меня и напоминает ту минуту, когда он остановился на мне.

Наступила ночь. Через авеню Оперы я прошел на левый берег среди все возраставших шума и хаоса. Как будто гнувшиеся от тяжести, переполненные автобусы и таксомоторы сворачивали в сторону от катившейся человеческой лавины — и с высоты столбов пылавшие и трещавшие газовые фонари освещали потрясенный, перевернутый вверх дном Париж. Потом мало-помалу улицы опустели, стало тихо. К девяти часам я добрался до своего дома на набережной О-Флер и достал из ящика свою мобилизационную карточку,

воинскую книжку и 20 франков, которые вместе с мелочью, имевшейся у меня в кармане, составляли весь мой капитал.

Боже, как тяжело было дышать в эту летнюю ночь, неподвижно-душную, под бледным, прозрачным небом! Я, как и другие, был словно одержим безумием, не позволявшим контролировать собственные поступки, толкавшим меня вперед на уже снова оживавшие улицы, по которым текла черным сплошным потоком толпа, охваченная исступлением. На площади Бланш, у пивной Сирано, меня ожидали друзья. Часть ночи мы провели в кафе, трепещущие, возбужденные, пили вино с женщинами и их любовниками, платя по очереди; эти субъекты были гораздо спокойнее и хладнокровнее.



Пьер Брюне. *Карнавал*

Они, щурясь, глядели на проходивших и, засунув руки в карманы, не отвечали на обращенные к ним вопросы. Из кафе мы спустились по улице Бланш и оказались свидетелями (вмешаться было поздно) быстрого нападения жуликов на трех молодых людей. Отняв у них все деньги, нападавшие, увидев нас, бросились бежать со всех ног и скрылись за углом. На площади де-ля-Тринитэ строились шеренги. Мы к ним присоединились, окруженные двойным кольцом любопытных, махавших шляпами, платками и провожавших нас криками. Но, так как разные темные личности, пользуясь давкой, без сты-

да и совести очищали карманы, здесь уже происходили драки, и энтузиазм несколько ослаб.

Я отлично помню, из кого состояла окружавшая меня горланившая толпа: из юнцов, девушек с непокрытыми головами, в ситцевых платьях, из личностей в каскетках, матерей, сыновья которых были в рядах, и целой тучи шалопаев, счастливых, что представляется случай драть глотку. От времени до времени, когда им надоедало петь марсельезу и «прощальную песнь», визгливые голоса затягивали какой-нибудь другой мотив, и все с воодушевлением подхватывали. Часто приходилось останавливаться, так как толпа мешала идти вперед. Топтались на месте. Модные тогда песенки раздавалась на улицах, заглушали все, и в этой фантастической кутерьме мы, лихорадочно цепляясь друг за друга, прыгали, плясали и шли и шли вперед.

Так до самой полуночи, бросаемые то туда, то сюда, на бульвары, на улицу Мадлен, на площадь Согласия, мы всё шли. Наконец я выбрался из шеренги и Сен-Жерменским бульваром прошел в Латинский квартал. Но и тут была такая же давка. Студенты в бархатных беретах, неся знамена, фонари, плакаты, чучела в касках, шли и орали как сумасшедшие:

— На Берлин! На Берлин!

Им отвечало тысячеголосое эхо. Все покрывал этот крик, оглушительный, не ослабевавший. При приближении всех этих людей, чей шаг отчетливо и звонко раздавался на мостовой и словно ударялся о каждое сердце, — в окнах кабачков появлялись разряженные девицы и неистово аплодировали. Перед Даркуром, перед пивной Пантеона и кафе напротив толпа была так густа, что она образовала пробку. Знамена колебались над головами, свивались, изгибались в живые складки. Порою, когда какое-нибудь дерево затеняло свет газовых ламп, эти качавшиеся в воздухе знамена походили на огромный саван. Я как сейчас вижу на конце древка их капризные и зловещие колыхания. Какая-то небрежная грация, что-то суровое, одинокое и язвительное было в них. И, когда складки распрямлялись движением серпов над зреющей нивой, казалось, что много молодых голов склоняются, словно их уже коснулась невидимая рука.

Но они тотчас же подымались опять, эти гладкие молодые лбы, так рано отмеченные смертью. Они подставляли себя ей с какой-то дикой доверчивостью, при виде которой мои силы слабели и надежда покидала меня. Я видел, казалось, уже не знамена, но одну ужасную сплошную пелену, красную от крови. Почему среди этого человеческого стада ни один не возвысил голоса, чтобы проклясть то гнусное и бесполезное избиение, которое должно было начаться завтра на полях, где ароматы земли еще смешиваются с ароматом плодов под обжигающей лаской солнца? Может быть, достаточно было прозвучать одному голосу, чтобы изменить все это или по крайней

мере вложить иной смысл, более строгий и мучительный, в приносившуюся здесь неизмеримую жертву. Но такого голоса не было!.. Было много криков, пения, еще криков, диких, исступленных... Мужчина лет двадцати пяти, у которого на шее висела связанная шнурками пара солдатских башмаков, неистовствовал неподалеку от меня. Он, словно в приступе безумия, топал ногами, а две девушки, державшие его за руки, смеясь, тянули его за собой. Я пошел следом за ними, расталкивая толпу, цепляясь за них, не отставая, так, словно бы эти трое людей должны были стать путеводителями всей моей жизни, спасти меня от страшных дум. Этот человек был прав: он хотел провести свою последнюю ночь не в слезах и отчаянии, а в наслаждениях, которых его лишили раньше, чем он успел ими насытиться. Да. Прав. И, не отдавая себе отчета в том, что делаю, я спустился по узкой лестнице в бар Пантеона, уселся там и потребовал вина.

Странная картина! Я не узнал обычной обстановки, потому что столы сегодня были сдвинуты дальше в углы, оставляя больше места, чем всегда, для танцующих пар. Оркестр играл танго, и танцующие, обнимая своих дам, замиравших в немом экстазе, проделывали па как-то особенно старательно. Все это была молодежь с кожаными солдатскими сумками через плечо; они глядели, не видя, недвижным взором прямо перед собой, и, невольно захваченный судорожной мелодией, я под пение скрипок стал напевать:

«Этот танго — последний...»

Но в это время произошел комичный инцидент: одна из посетительниц бара, поджидавшая своего дружка, увидев его у входа, громко закричала:

— Ага, вот и он, вот он, мой бельгиец!

Музыка вдруг прекратилась, словно по волшебству, и из всех грудей вырвался один общий крик:

— Да здравствует Бельгия! Браво! Браво!

Надо было видеть физиономию бельгийца! Он казался очень тронутым, кланялся, благодарил. Какой-то старый господин, толстый, белобрысый, стал угощать всех шампанским, и веселье продолжалось.

Но меня потянуло вон отсюда. Я вышел на улицу. Голубая ночь, густая листва деревьев на бульваре и в Люксембургском саду, сильный, полный сладострастной истомы, запах земли и травы — навевали на мое сердце городского жителя какую-то глухую скорбь и томление. Этот запах, казалось, так же влиял на толпу, ложился на всех невыразимой тяжестью. Трагическая ночь, душная и ласковая, не давала утешения и отрады всем этим мужчинам и женщинам, которых война отрывала друг от друга, жестоко растерзав их души. Глухое оцепенение. Крики умолкли. Последние группы рассеялись. Ночь шла, и незаметно наступил рассвет, и повозки огородников застучали по мостовой, потянулись к рынкам. Бледный день выгля-

нул и озарил улицы. И люди возвращались к действительности, считая оставшиеся часы, а наиболее храбрые открыто смотрели в лицо своей судьбе. Все еще бродя и наблюдая, я вспомнил, как месяц тому назад одна старая женщина на террасе Клозери, вызвавшаяся предсказать нам нашу судьбу по линиям рук, вдруг встала, ничего не говоря, словно испуганная тем, что прочитала.

— Ну, что же, матушка, рассказывай! — приставали мы к ней.

Но она упорно молчала.

— Да говори же! Ты язык проглотила, что ли?

Старуха вдруг подняла руки к небу и заплакала.

Не смерть ли прочла она на всех этих ладонях? Какой таинственный знак открыл ей правду? Мне бы хотелось снова встретить ту женщину, спросить ее... Но нет! Не надо пытаться узнать то, чего не должен знать человек. Словно борясь с искушением, я невольно сжал кулаки, сунул их в карманы и пошел дальше большими шагами.

Я подумал о моих родителях, живших далеко от Парижа и, вероятно, в эту ночь готовивших в дорогу моих братьев. Мучительная боль сжала мне сердце. Я был одинок, ужасно одинок среди этих улиц, покинутый всеми и влачивший за собой свою усталость. Я чувствовал себя разбитым, у меня не было более ни капли мужества. И в зеркале какого-то ресторанчика, куда я зашел, я вдруг увидел свое мертвенно-бледное лицо и покрасневшие глаза.

— Выпей кофе, братишка, это тебя подкрепит, — посоветовал мне хозяин. — С ромом?

— Да, с ромом.

Кабачок был полон. Облокотись о прилавок, какой-то мужчина, только что выпив стаканчик «шинка», все вытирал да вытирал губы; и, глядя на него в мрачном молчании, смиренно стояла подле в ожидании бледная женщина. Но мужчина трясущейся рукой все продолжал вытирать рот, и, казалось, этому не будет конца; а несчастное существо подле него, не желая мешать ему теперь, когда он так нуждался в бодрости, все ожидало терпеливо и молча и напряженно следило за ним. Вдруг он порывисто обнял свою подругу и стал исступленно целовать ее; она вернула ему поцелуй, она в свою очередь обхватила его, все не произнося ни слова, пока он не вырвался, бросился к двери, открыл ее и исчез.

— О, господи! — простонала несчастная.

Соседи бросились к ней. Она же, как упала на пол, так и осталась, мертвая, убитая наповал отчаянием, как будто отданная в жертву этому страшному богу, который так немилосерден ко всем, даже и женщинам, и остается равнодушен к их страданиям.

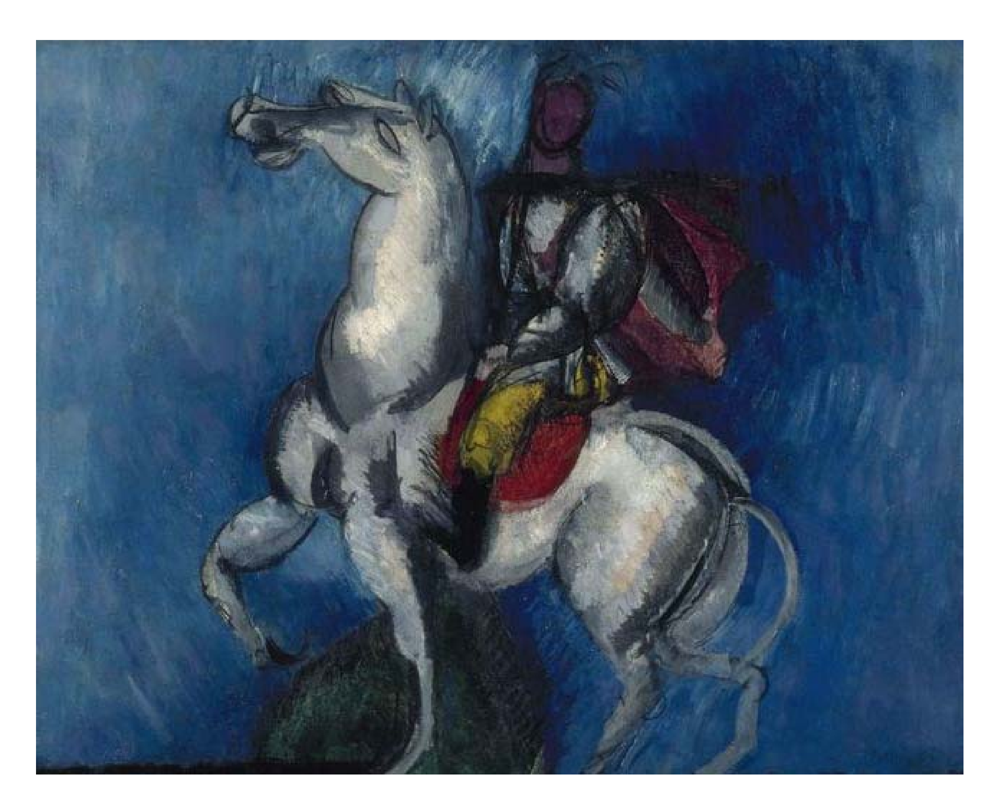
Становилось все светлее. По бульвару прошли несколько военных врачей в элегантной, ловко сидевшей форме. Они торопились на Восточный вокзал пешком, так как не было ни трамваев, ни таксомоторов. Совсем юные, почти дети, они явно гордились своими желтыми сапогами, новыми кепи, бархатными воротниками, гордились

тем, что они — в это солнечное утро — отправляются с чемоданчиком в руке на великую войну. Какая грусть овладела нами, когда мы провожали их взором из окна бара, стоя подле мертвой женщины, к которой уже бежал полицейский. Какое уныние! После врачей прошли маленькими группами манифестанты с испачканными, словно выкупанными в луже знаменами. Большинство из них были пьяны, и ноги с трудом слушались их. Иные разбитыми, хриплыми, тусклыми голосами еще пытались орать с упрямством пьяных, когда они замечают, что на них смотрят:

— На Берлин!.. Да... Да... На Берлин! На Берлин! На Берлин!..

* *
*

Весь этот день, те короткие часы, которые мне оставались, я провел с друзьями. Эдуард Газанион не отходил от меня. Он купил для меня дорожную фляжку и наполнил ее водкой, снабдил меня деньгами, и мы вдвоем бродили до вечера. Париж казался каким-то другим городом. Повсюду мы встречали невероятное количество народу, но все эти люди уезжали, мчались на вокзал, нагруженные ве-



Рауль Дюфи. *Белый всадник*

щами, имели возбужденный вид. Там и сям проезжали конные патрули. Роты солдат, фургоны, нагруженные оружием и амуницией,

батареи, эскадроны прокладывали себе дорогу в толпе, приветствовавшей их гулом одобрения. На бульваре дю-Пале поймали шпиона. Я в это время очутился перед полком артиллерии, который медленно, бесконечно медленно переходил мост и исчезал вдали, а за ним в хвосте тянулись орудийные повозки, на которых ехали обозные и прислуга. Всадники в киверах, укрепленных под подбородком, на лошадях, чья упряжь была украшена цветами, ехали серьезно и важно. Они не отвечали на крики, которыми толпа приветствовала их. Скрипели колеса повозок, подпрыгивали от толчков орудия, как таинственные игрушки, количество коих все росло и росло. Было больно смотреть на этих молодых людей, с дулами винтовок, торчавшими у самых кепи, со свернутыми трубкой шинелями через плечо, — потому что выражение безбородых лиц совсем не соответствовало возрасту и придавало жестокость их чертам.

Снова наступил вечер — и принес первые новости с театра военных действий, увеличивая смятение. «La Patrie», выходившая в уменьшенном формате, в четверть листа, покупалась нарасхват; все обсуждали события. Весть о разгроме немецких фирм воспламеняла стариков, видевших в этом реванш и без конца распространявшихся о былых временах.

Убийство Жореса, пожалуй, их тронуло меньше. Что, Жорес? Убит? Тем хуже. Им некогда было его оплакивать в такой критический момент. И, собирая вокруг себя слушателей, внимавших им, ничего не понимая, эти болтуны рассказывали, к примеру, ссылаясь на статистику, что ядро должно быть в три раза тяжелее человека, чтобы его убить.

— Вот вы например, — объяснял один такой старый франт толстяку, торчавшему перед ним и не прерывавшему его разглагольствований: — для вас, мой друг, нужна целая тонна... Вы разорите пруссаков!..

И, видя, что толстяка занимает другая мысль, старикашка добавлял:

— На бой! Мужество прежде всего, мой друг! Умереть — пустяки, когда знаешь, за что умираешь! Да, пустяки! Поверьте моему слову, если бы я был моложе...

Эти оригиналы собирали толпу (трудно этому поверить в наши дни), говорили до изнеможения все, что хотели, совершенно безнаказанно. Никто не останавливал их. В кафе, в автобусах, на улицах, у вокзала они призывали людей подставлять грудь под пули, так, словно бы это было самым естественным делом. Задумывались ли они над тем, сколько ужасов и мерзостей спускает с цепи война? Нет, конечно, иначе они бы не могли говорить так, как говорили. Они ничего не знали об этом. Они верили, как верил весь мир, что эта война окончится очень быстро, раз англичане и бельгийцы идут с нами против «этих касок», и что, когда победа вознаградит нас за все жертвы, для тех, кто переживет это время, наступит эра радости

и процветания. Да простится мне, — но эта эра, о которой столько мечтали пылкие проповедники в первые дни мобилизации — она уже наступила для нас, и, если бы мы тогда знали, какова она будет, никто не пожелал бы заплатить за нее такой дорогой ценой.

XVIII

Погибли дю-Френуа, Марсель Друэ, Шарль Перро, Луи Перго, Жан-Марк Бернар, пал накануне перемирия Гильом Аполлинэр, и позже — Жан Пеллерен. Не возвратился с этой ужасной войны и мой брат Шарль, произведенный в офицеры при выходе из политехнической школы. Когда я об этом думаю, когда вспоминаю бывшего гордостью нашей семьи ребенка, чьи останки я разыскал у Блеркура под Верденом, — жестокая боль разрывает мне сердце, и кажется, что рана эта всегда будет так же свежа. Помню, из ям на кладбище, где похоронены были убитые, подымалось нестерпимое зловоние. Солдаты африканского батальона, как бешеные, работали кирками, чтобы поскорее вырыть гроба. В глубине ям хлюпала вода. Крышки гробов сдвигались, и бедные наши мертвецы в испачканных кровью мундирах глядели снова на свет дня, сиявшего для живых. Завернутые в тяжелые военные плащи останки приходилось по частям вытаскивать из ям и член за членом перекладывать на полотно, размещать, глотая слезы, эти дорогие и страшные куски, потом укладывать в новый гроб на подстилку из опилок, которые скоро промокали от черноватой воды, капавшей с полотна. Отвратительное, ужасное — и все же благородное и необходимое переживание! Никто не уклонялся от него. Эти сероватые массы, словно окаменевшие от воды, в которой они долго пробыли под землей, сохраняли еще человеческий вид, но они казались нам такими тяжелыми, что слабели подымавшие их руки и падало сердце. Тем не менее, каждый с каким-то болезненным упорством не хотел щадить себя. Мы присутствовали при всех самых тяжелых процедурах. Я видел, что осколок шрапнели, убивший моего брата, сделал только маленькую, совсем маленькую трещину на виске, оставив совершенно целым череп.

Стояло лето, мягкие светлые дни, — но все вокруг казалось объятым неподвижной печалью. Ни малейшего шума не доносилось сюда из леса на тех высотах, через которые, как мне было известно, шел на Блеркур в ночь на 21 июня 1916 г. тот, кого я теперь оплакивал. Мы, казалось, слышали молчание этих зеленых холмов, этой долины, на краю которой находилось кладбище, неглубокой, тихой, открытой со всех сторон. Тополя по краям дороги, луга, низкие, сырые и свежие как ключевая вода, скошенное сено... Этот мирный, счастливый пейзаж мало-помалу начинал влиять успокоительно на

наши измученные нервы. Я думал о моем брате Шарле, выделявшемся своими способностями среди студентов политехнической школы, отмеченном профессорами. И эту блестящую голову, этого юношу 22-х лет избрала, чтобы поразить, десница смерти!

Мысли, подобные моим, проходили, вероятно, и в головах всех остальных, пока подводы с гробами спускались по склону между кустов. Они оставляли за собой длинный голубоватый дымок, быстро рассеивавшийся в воздухе. Потом подводы скрылись из виду, и мысль о том, что границы между жизнью и смертью стерлись, стала почти отрадной, а воспоминания о прошлом теперь, когда участника этого прошлого не было больше здесь, чтобы вдохнуть в них жизнь, — эти воспоминания отлетели навсегда. Все вокруг, казалось, хотело запечатлеть в моей душе волнующий урок, который отодвигал все дальше и дальше вглубь памяти остальные переживания, пока они медленно не канули в ту бездну, которую каждый из нас носит в себе.

Воспоминания? Да... Ничего более. Веселые или печальные, легкие как этот дымок, который на моих глазах развеялся в воздухе на маленьком кладбище в Блеркуре, — эти мои воспоминания имеют одну лишь цель — оживить для друзей моей молодости те годы, которые уже к нам не вернутся. Пускай же эти друзья поймут мои чувства и, быть может, возвратясь мыслью в прошлое, так тесно сольются с бесхитростно набросанными здесь портретами, что эти портреты приобретут еще больше сходства.

Что же касается до портретов тех, кто исчез навсегда, то это уже дело моей совести. Я хотел показать их такими, какими они были тогда, когда я знал их. Не всем же присуще это царственное презрение к своим современникам, с каким несчастный Леон Дейбель писал перед своим самоубийством:

Поэт проснется утром рано
И слышит, что его стихи
Поют деревья, травы, мхи
Пчелиным голосом органа.

И он, как победитель вещий,
Как баснословнейший герой,
Создаст из преходящей вещи
Бессмертных звуков вечный строй.

Этого не написал бы ни Пеллерен, ни Жан-Марк, ни Гильом... Что за дело им было до будущего? Они жили. Они любили жизнь. И даже Модильяни, тот Модильяни, чья слава только после его смерти «проникла в отдаленные времена», при жизни вспоминал о славе, о бессмертии лишь затем, чтобы посмеяться над этим.

Да, нам суждено было потерять и его тоже. Зимою 1920 г., по окончании войны, он тихо угас в госпитале, вздыхая: «Cara Italia». Хоть он и не был французом, он жил и творил среди нас, среди нас его талант расцвел пышным цветом, нашел свой ритм, свою чистоту, гармоничность, прелесть. В год, предшествовавший смерти Моди, Зборовский отправил его лечиться в Ниццу (которая совсем не место для артистов и тем более для больных). И там, хотя Зборовский оплачивал его расходы, этот несравненный художник продолжал работать все время. Он жил на улице де-Франс, в гостинице для проституток, и «эти дамы», зная, что у него чахотка и что он слишком беден, чтобы платить натурщицам, позировали ему даром по утрам в его комнате, когда их посетители уходили. Что это было за существование! Мне о нем рассказывал Зборовский. Одну из этих женщин, ничего не бравшую с художника за сеансы, застал как-то у него в комнате ее сутенер. Субъект этот стал требовать у Модильяни денег. Но ни у Моди, ни у Зборовского не было ничего, кроме картин, которых никто не покупал. Продать их? Но кому? Некоторые писатели, очень известные, к которым Зборовский обращался, не дали ни сантима. Другие, более дальновидные, торговались с художником. Они покупали за 20 франков одну, а иногда и две картины и, на мольбы Зборовского помочь ему спасти Модильяни, отвечали:

— А, поделом ему! Художник, если он беден, не должен вести такую жизнь. Пусть живет по средствам! Зачем он уехал из Парижа?

— Но он тяжело болен, — говорил им Зборовский: — он кашляет кровью.

Его прогоняли вон. Отсылали его к местным «ценителям живописи», которые здесь еще корыстнее, чем в других краях, и которые указывали Зборовскому на дверь, ничуть не трогаясь его горем. Повсюду одинаковый прием, холодный и грубый. Тупость и тщеславие как будто заключили союз, чтобы довести до последнего отчаяния этого человека, верившего в своего художника. Но Зборовский выносил и не такие испытания. Когда Модильяни жил в мастерской у Сутина, в старой части Парижа, ему приходилось поливать пол, чтобы спастись от клопов, блох, тараканов, вшей, которыми так и кишела эта дыра. И, приняв эти предосторожности, Модильяни, которому предстояло стать героем романа Мишель Жорж-Мишеля «Монпарнасцы», ложился спать на пол рядом со своим товарищем. Так он жил в течение долгих месяцев, стоически переносил все невзгоды и пил, чтобы забыть о них. Потом Зборовский снял для него мансарду в «отеле для иностранцев» на улице Расини, и Моди с раннего утра уходил рисовать к своему другу-поэту, который, чтобы доставить ему самое необходимое, бегал по всему Парижу с утра до ночи и возвращался измученный и унылый.

— Ну, что, удалось? — осведомлялся Модильяни. — Продал что-нибудь?

Нет. Он не продал. Он ничего не продал, но, чтобы скрыть от Моди плачевный результат своих попыток, он занимал 40 су у кого-нибудь в квартале и покупал сало и красные бобы, которые варил и делил со своим другом. Целую зиму они питались одними бобами, а художник, за неимением холста, писал на стенах, на двери, которая сохранилась до сих пор, или, раздраженный, усаживался в углу комнаты и ожидал возвращения Зборовского.

В Ницце у них не было никого, кто бы ими интересовался, ни одной близкой души; но Зборовский делал все, что мог, чтобы поднять упавший дух Моди, воодушевить его. Он готов был потихоньку спустить все, что имел, свой чемодан, свое старенькое пальто, свои сорочки. Он уже почти голый поехал в Марсель, где ему удалось продать 15 полотен Моди за 500 франков. Всю эту сумму сполна он отослал Моди, оставив себе только на проезд. Он вернулся в Париж. Он снова начал свои поиски.

На улице Гранд-Шомьер он отыскал мастерскую, где и поселил Модильяни. Боже, сколько упорства, сколько сил душевных нужно было Зборовскому для этой неустанной борьбы с судьбой! Знал ли об этом Моди? Думаю, что нет. В ателье на улице Гранд-Шомьер, где не было никакой мебели, художник некоторое время чувствовал себя спасенным от нужды. Его картины понемногу стали покупаться. Я уже говорил о швейцарских коллекционерах. Их было несколько и в Париже, но они платили недорого, и Модильяни и его подруга — молоденькая девушка — жили в такой же нищете, как раньше*. Кажется, было чем обезоружить судьбу. Но она все еще преследовала художника самым безжалостным образом и готовила ему обиды одна горше другой.

Болезнь, которой суждено было унести Моди, все прогрессировала, и так, вероятно, в ноябре 1919 года он почувствовал, что силы его убывают. Он продолжал работать со страшным усилием, и, так как он пил все больше, это усилие окончательно сломило его. Зборовский двадцать раз уговаривал его отдохнуть на юге или в санатории, где знакомый врач соглашался лечить Модильяни бесплатно. Но последний отказывался. Не в силах работать, он бродил по улицам и слабел день ото дня. Он кашлял ужасно и, когда его уговаривали уехать, отвечал;

— Нет... нет... Оставьте меня!

Наступил декабрь. Моди, не сознавая, как серьезна его болезнь, говорил о том, как начнет снова работать, мечтал весною уехать в Италию со своей юной подругой и их ребенком.

— Там, в Италии, у меня есть мать...

Несмотря на все уговоры, он работал без огня у себя в ателье и относил к Зборовскому свои картины, торопя его продать их. Кашель терзал его до того, что он целые часы вынужден был лежать без сил. Он стал избегать людей. В январе он слег совсем. Зборовский нашел



Амедео Модильяни. *Жанна Эбютерн в шляпке*

его в лихорадке, метавшимся в бреду, на убогом диване. Он не хотел, чтобы позвали доктора, но Зборовский все-таки позвал, и доктор распорядился немедленно перевезти художника в больницу.

— Италия! Дорогая, дорогая Италия! — бормотал на родном языке Модильяни, когда его уносили.

По дороге он потерял сознание, но снова; пришел в себя в палате больницы де-ля-Шаритэ на улице Жакоб. Лихорадка усилилась, он бредил, говорил громко, декламировал стихни всю ночь. На другой день, к вечеру, он умер.

Мне хочется напомнить всем, кто знал и любил Модильяни, как тотчас после его смерти в нас родилась странная уверенность, что его царство наступает. Это необъяснимо. В один миг новость распространилась по Парижу. Кислинг пришел мне ее сообщить. Он рассказал мне, как подруга Моди, ожидавшая второго ребенка, бро-

силась на труп своего возлюбленного, не желая расставаться с ним, сколько мужества она проявила в своем отчаянии. Ее силой оторвали от тела и отвели к ее родителям на улицу Амио, умоляя их оставить бедняжку у себя хотя бы на несколько дней и присмотреть за ней, так как она нуждалась в уходе. Кислинг был ужасно расстроен. Он взял у меня взнос на похороны, записал его на листочке, где уже были записаны десятки имен, и мы пошли в больницу. Тело Моди, подле которого дежурили друзья, было покрыто цветами. Под цветами на груди покойника лежал длинный золотистый локон.



Жанна Эбютерн. *Самоубийство*

— Это она, — вполголоса объяснил мне Кислинг. — Она... его любовница. Перед тем, как ее заставили уйти, она срезала эту прядь и положила ему на грудь.

Со всех сторон сходились сюда товарищи покойного, торговцы, простые люди, трактирщики, натурщицы. Все казались сраженными этой смертью.

В лице Моди сходил в могилу последний представитель богемы нашего поколения, которую жизнь не щадила. Мы это чувствовали. И к той большой скорби, что мы испытывали, на следующий день прибавилось новое потрясение: Зборовский и Кислинг, еще не опра-

вившиеся от ужаса, сообщили нам о том, что случилось ночью. Подруга Модильяни выбросилась из окна родительского дома, и родители отказались принять ее труп.

За траурными дрогами, покрытыми (о, ирония судьбы!) венками, дорогими букетами, целыми охапками цветов, двигалась огромная толпа,

Тут было много художников, женщин, писателей; весь Монпарнас и весь Монмартр были тут, объединенные одним чувством, пришедшие отдать последний долг ушедшему товарищу, который в своей беспорядочной и полной превратностей жизни знал больше лишений, чем кто бы то ни было. Вспоминали разные случаи. Говорили о его картинах. Идя за гробом, я видел в рядах толпы всех друзей несчастного Моди. Они к тому времени уже далеко ушли вперед по жизненному пути. Постарели, слегка отяжелели. Одни — уже знаменитости, другие — на пути к известности: Пикассо, Сальмон, Макс Жакоб, Блез Сендрар. Все они были там. Они не отрекались ни от чего в своем прошлом... Но с Моди они хоронили свою молодость. И даже полицейские, останавливавшиеся на ходу, сухо щелкнув каблуками и отдавая честь, может быть те самые, что таскали когда-то Моди в участок, как будто являлись выразителями запоздалого общественного признания.

Это Пикассо — как всегда — первый уловил скрытый смысл того, что происходило. И, оборотясь ко мне, указывая на колесницу, где Модильяни покоился под цветами, и на салютовавших полицейских, сказал тихо:

— Видишь... Он отомщен!

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ ФРАНСИСА КАРКО

КИСЛОСЛАДКАЯ ПЕСЕНКА

Ах, я люблю тебя! А ты,
Ужель ты не в моих поэмах?
Зима приводит сонм упрямых
Скорбей, чернее черноты.

Акации дрожат сторожко,
Лишь ветром тронет их слегка.
Ты грелась, сидя без сорочки,
Вся голая, у камелька.

Холодный ливень бился в стекла;
Дрова шипели, чуть горя...
Я жду, чтоб мутная заря
Опять в моем окне возникла!

Пер. Б. Лившица

ПРОЩАЙ

Вот и старый кабак. Много лет
Дождь осенний его убивает.
Я пришел, но тебя уже нет,
От страданья любовь убывает.

Я страдаю. Когда ты ушла,
Я смеяться учился искусно.
Плачу я без любви, без тепла
И живу с той поры только грустно.

Ты хотя бы на память храни,
Мое сердце, тоски неизбежность,
Ты храни эту древнюю нежность
И от ран почерневшие дни.

Грудь чужую осыплет мой смех,
Лаской губы чужие я встречу,
Их зубами своими помечу...
Все равно ты прекраснее всех.

Пер. И. Озеровой

ПОЛНОЧЬ

В переулке пустом,
Занавешен дождем,
Ждет гостей дом свиданий.
Плач полночных часов,
Словно скрипнул засов
В глубине сонных зданий.
Кто крадется тайком
Здесь, в ненастье таком?
Тени двух ожиданий...
В переулке пустом
В ночь небесных рыданий.

Пер. И. Озеровой

ЧАС ПОЭТА

У нее в руке фиалки,
Кончен праздник, и она
На букет глядит свой жалкий,
Подозрительно бледна.

На дворе ни ночь, ни утро,
Все покрыто полумглой,
Бродят тощие собаки
По парижской мостовой.

Это горький час поэта,
Час, когда охвачен он
Беспокойством до рассвета,
И растерян и смущен.

От моей коптящей лампы
Свет ложится на тетрадь,
И забытые фантомы
Оживают в ней опять.

Пер. М. Кудинова

НОЧИ ЗИМНИЕ

Ночи зимние… Зажегся
Свет над дверью кабачка.
С потолка свисает лампа…
До чего ж любовь горька!

Эти губы и помада,
Этот сладенький мотив…
Сам не знаю, что мне надо,
Что ищу я, загрустив?

Вы танцуете, но счастья
Вам не встретить на пути…
Словно тех, кто мной потерян,
Я пытаюсь вас найти.

О погибшие созданья,
Веселиться б вам всегда!
Звуки вальса, бал в предместье,
А за дверью ждет беда.

Смотрит смерть с кривой ухмылкой,
Смерть кривляется в ночи…
Та, которую прирежут,
«Не виновна я», — кричит.

Не прислушивайтесь к стону
Крови, пролитой на грязь.
Ничего вы не слыхали,
В танце весело кружась.

Ночи зимние… Под ветром
Фонаря трепещет свет.
Сумасшедшие девчонки,
Для которых счастья нет,

Все вам сердце здесь пленяет;
Звуки льются через край,
Вальс вас кружит… И сливает
Воедино грязь и рай.

Пер. М. Кудинова

МОНМАРТР

Монмартр! Охрипшее веселье,
И буйный пляс, и пьяный вздор...
Но льет оранжевое зелье
В окно заря, немой укор.

Любовь обманутая плачет:
Синеет грусть в ее пирах!
И тщетно Время правду прячет
На остановленных часах.

А где пропавшие гуляки?
Тот – у камина, у огня;
Тот – у рояля, в полумраке
Еще сиреневого дня...

Мими, Жермэна, Бланш устали;
И как накрашены смешно!
Лучи злорадней заблистали
Сквозь побледневшее окно.

А это кто? моя малютка?
В слезах, покинута? Позволь,
В чем дело? Для тебя не шутка
И вспышка нежности, и боль.

Нет! ран воспоминаний, жёлчи,
Во мне напрасно не смущай:
Я был с тобою мил, но молча;
Ты надоела, – и прощай!

Моро! поэт! утешь голубку!
А я – как зимний день: суров,
И желт, и бледен, и лилов...
Спускаюсь я, без дальних слов,
В дверях раскуривая трубку.

Пер. И. Тхоржевского

И. Соболева

БОГЕМНАЯ ЖИЗНЬ ФРАНСИСА КАРКО

БОГЕМНАЯ ЖИЗНЬ ФРАНСИСА КАРКО

«Романист апашей», «представитель мелкобуржуазно-интеллигентской богемы», «воплощение артистического Монмартра» – некоторые из этих определений до сих пор сопровождают имя Франсиса Карко. Для полноты богемного портрета можно добавить, что Карко был любителем алкоголя, табака и женщин, плативших ему взаимностью.

А еще он был одаренным поэтом, знатоком живописи и художественным критиком (одним из первых Карко обратил внимание коллекционеров на несравненный дар Амедео Модильяни). И – тружеником, оставившим обширнейшее художественное наследие, членом Гонкуровской академии и лауреатом Grand Prix du Roman Французской академии.

Франсис Карко родился 3 июля 1886 года в Нумее, столице тихоокеанской французской колонии Новая Каледония, в семье колониального чиновника. Настоящее имя будущего поэта и писателя также звучало довольно экзотически: Франсуа Каркопино-Тюзоли. Здесь, в Нумее, Франсис провел первые десять лет жизни.

На острове Ну у побережья Нумеи располагалась одна из исправительных колоний, созданных французами в Новой Каледонии. Между 1864 и 1922 г. французские власти отправили в эти колонии свыше 20 тысяч заключенных, включая как уголовников, так и «политических».

Биографы Карко отмечают, что он нередко мог видеть из окон родительского дома на рю де ла Републик закованных в кандалы узников, ожидавших отправки на остров Ну. Не отсюда ли острый и даже болезненный интерес к преступности, к «подпольному миру» парижских бандитов, сутенеров и проституток, чуть ли не всю жизнь сопровождавший Карко?

Вскоре, в связи с новым назначением отца, семья Карко возвратилась во Францию и поселилась в старинном бургундском городке Шатийон-сюр-Сен. Невероятное совпадение: в 1901 г. в этом городке родилась девочка, ставшая олицетворением богемы – Алиса Эрнестина Прен, натурщица, певица и художница, известная как «Кики с Монпарнаса».

Но к 1901 г. семья Карко успела переехать в Вильфранш-де-Руэрг, вновь на неизбежную улицу Республики, а несколько позднее переселилась в Родез, столицу того же департамента Аверон. Карко нередко наведывался к своей бабушке, жившей в Ницце, побывал в Лионе и Гренобле… Впрочем, главное не в этих внешних переменах. Тяготясь отцовским деспотизмом, Карко все больше уходил в себя – и в поэзию, а во время своих разъездов и армейской службы познакомился и подружился с будущими литературными соратниками: Жаном Пеллереном, Тристанон Деремом, Робером де ла Васьером и другими начинающими литераторами.

В 1910 г. 23-летний Карко, вооруженный тетрадкой стихов и кратким опытом преподавания в Аженском лицее, очутился в Париже. О дальнейшем он сам красочно рассказывает в мемуарах – вырезанное из какого-то журнала объявление привело молодого поэта в прославленное (и существующее до сих пор) кабаре «Проворный кролик» на Монмартре, а умение петь, так ценимое завсегдатаями и хозяином, «папашей Фреде», тотчас завоевало ему почетное место за одним из деревянных столов кабаре.



«Проворный кролик». Современный вид

Знакомства Карко в артистической среде быстро множатся. Сегодня его воспоминания читаются как справочник «Кто есть кто в искусстве и литературе XX века» – Пабло Пикассо, Гийом Аполлинер, Морис Утрилло, Амедео Модильяни, Макс Жакоб, Поль Фор, Пьер Мак-Орлан, Ролан Доржелес, Андре Сальмон, Пьер Бенуа, а рядом десятки менее известных имен... Для поэта началась богемная жизнь: пьянство, голод, случайные квартиры и бесконечные женщины – натурщицы, проститутки и наивные провинциалки.



«Папаша Фреде»
(Фредерик Жерар)

Но рано или поздно, давние товарищи покидали «Кролик», да и сам Карко хорошо понимал, что долго подобная жизнь на Монмартре продолжаться не могла, ибо она грозила артистической и человеческой гибелью. «Сам я, решив в один прекрасный день, что надо работать, покинул улицу Коленкур ради Латинского квартала» – пишет он в мемуарах, не упоминая о том, что на время даже покинул Париж и обосновался у бабушки в Ницце.

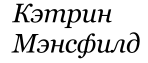
И все же Карко был человеком богемы, причем неисправимым. Попытки вести добропорядочное существование типографского наборщика, как позднее газетного хроникера в «L'Homme libre», ни к чему не привели: мир новостей и политических интриг совершенно не интересовал Карко. Он становится, как сейчас бы сказали, «фрилансером» и с тех пор зарабатывает на хлеб литературным трудом и художественной критикой.

Уже в 1912 г., когда Карко выпустил первый поэтический сборник с весьма подходящим названием «Богема моей души», заявила о себе группа поэтов-«фантазистов», куда наряду с Карко вошли Жан-Поль Туле, Робер де ла Вассьер, Тристан Дерем, Жан Пеллерен и другие поэты.

Целью фантазистов, как и всех подобных групп, была реформа поэзии: фантазисты отрицали наследие символизма, герметическую замкнутость и пессимизм декадентства, выступали за «фантазию», жизненность, простоту лексики и четкость выражения, свободу формы, возвращение к национальным и прежде всего фольклорным и песенным традициям. Типичное у фантазистов сочетание меланхолии, горечи, иронии, сентиментальности и юмора крайне характерно для Карко (испытавшего также глубокое влияние Ф. Вийона, А. Рембо, Ф. Жамма, Ж. Лафорга и Т. Корбьера) и его ранних сборников «Кислосладкие песенки» (1913) и «Маленькие арии» (1920). Его стихотворения в прозе отличаются импрессионистическим урбанизмом, живописны и динамичны; позднее поэтический путь привел Карко к большей сдержанности и глубине чувств, отразившихся в сборниках «Маленькая сентиментальная сюита» (1936), «Стихотворения» (1939) и «Мертвый источник» (1946).

Развитию школы «фантазистов» помешала Первая мировая война, и ныне их заслоняет густая тень более радикальных новаторов – Аполлинера, дадаистов, сюрреалистов; с другой стороны, влияние их прослеживается и у сюрреалистов, и, несомненно, у таких авторов, как Ж. Превер или Б. Виан.





Кэтрин Мэнсфилд

К началу десятых годов относится нашумевший роман Карко с известной писательницей-модернисткой Кэтрин Мэнсфилд, уроженкой Новой Зеландии. «К тому времени, как у нее завязался роман с Карко… Мэнсфилд уже была героиней ряда чувственных любовных связей как с мужчинами, так и с женщинами» – пишет американский переводчик Карко Гильберт Альтер-Гильберт (одной из любовниц Мэнсфилд была поэтесса и литературный критик Беатрис Хастингс, подруга Модильяни).

«Карко давно стал волком, женолюбом, бабником с эпической репутацией. Их обоюдное влечение было непреодолимым... Мэнсфилд, в период пребывания во Франции, отправилась даже в окопы в поисках возлюбленного. Затем они разошлись и каждый отправился к новым победам и приключениям плоти. Никогда еще не бывало такого странного сходства двух душ. Но схожие полюса отталкивает друг от друга. Два корабля в ночи...»

В 1914 г. при поддержке писательницы Рашильд (Маргерит Эймери), жены основателя литературного журнала «Mercure de France», Карко опубликовал в журнале свой первый роман «Иисус-милашка», заслуживший похвалы видного романиста Поля Бурже.



Феликс Валлотон.
Портрет Рашильд

В ноябре 1914 г. Карко был мобилизован. Сперва он служил на военной почте, затем поступил в летную школу и в декабре 1916 г. получил патент авиатора за номером 5016, но вскоре был демобилизован из-за травмы колена. Война унесла жизнь младшего брата Карко. От последствий фронтового ранения и испанки скончался Гийом Аполлинер; без вести пропал в первые дни боев Андре дю Френуа; ближайший друг Карко, Жан Пеллерен, истощенный войной и туберкулезом, умер летом 1921 г.

Постепенно Карко оправился от потрясений, и в жизни его наступила счастливая и самая плодотворная эпоха, продолжавшая вплоть до конца тридцатых годов. Один за другим он публикәqɘ ɒ ɓɔɟɔɜ-Ɏɗɑqɓ ɓ ɡ q ɖɔɒɆɓ ɡ – «Извращенность», «Банда», «Человек, которого выслеживают» (именно этот роман о взаимной ненависти и патологической страсти убийцы и свидетельницы преступления принес Карко в 1922 г. премию Французской академии), «Улица» и другие, книги о Париже, писателях и художниках – «Поль Бурже», «Дружба с Туле», «Легенда и жизнь Утрилло» и т. д. Выходят и книги, принесшие Карко международную известность – «Роман о Франсуа Вийоне» (1926), рисующий распутную и трагическую жизнь великого поэта, и воспоминания «От Монмартра до Латинского квартала» (1927).

Парижское «дно», населенное ворами, проститутками, налетчиками, сутенерами и мелкими уголовниками – вот мир многих романов Карко, этой нервной прозы, погруженной в туман меланхолии и сдобренной острыми переживаниями и виртуозным уличным арго. «Темные улицы, бары, сирены в порту, уходящие корабли и огни в ночи», по собственному признанию, всегда влекли Карко, и в прозе, и в поэзии стремившегося к «пронзительному романтизму, где экзотическое сплетено с чудесным – не без щепотки иронии и разочарованности».

Во многих романах Карко также справедливо усматривают следы Достоевского: русский гений оказал на него неизгладимое впечатление. Это особенно справедливо в отношении «Человека, которого выслеживают» с убийством старухи, прямо заимствованным у Достоевского.

«“Преступление и наказание” буквально опьянило меня. Пять дней подряд, запершись в своем углу в меблированных комнатах, я зачитывался им. Второе, третье, четвертое чтение ни в чем не ослабили мощных ощущений, пронизывающих все мое существо» – писал Карко. «Звук колокольчика, в который вслушивался Раскольников, вернувшись к дверям старухи процентщицы, казался мне тем самым, какой раздавался внизу, в передней, когда ночью мы будили спящего там слугу. Я вздрагивал всякий раз, как какой-нибудь запоздалый жилец дергал звонок. Моя комната находилась над этой передней. Я жил в ожидании этого звука колокольчика, резкое звяканье которого преследовало меня как привидение».




Франсис Карко.
1930 г.

Карко, с другой стороны, отнюдь не занимался морализаторством в духе Достоевского, не собирался он и крушить социальные устои, подобно некоторым своим соратникам-модернистам, а в отношении «парижских подонков» (как выражались в двадцатые годы) балансировал на тонкой грани между сочувствием и равнодушием. Вдобавок, метафизические вихри «проклятых вопросов» лишь ненадолго могли коснуться его души: в нем было слишком много чисто французской жовиальности, любви к друзьям, бутылочке вина, песне и, конечно, Парижу.

Слава принесла писателю деньги и налаженный быт: Карко приобрел участок в Кормей-ан-Вексен под Парижем, бывшую собственность Октава Мирбо, после вернулся в столицу, поселился на набережной д'Орсэ, женился на Жермен Жаррель.

В 1932 г., во время поездки в Египет, Карко познакомился в Александрии с Элианой Негрин, женой еврейского «хлопкового короля» Египта Ниссима Агиона. Говорят, то была любовь с первого взгляда. Они хотели быть вместе и многим готовы были пожертвовать: Карко развелся с первой женой, Элиана оставила мужа и трех детей и в феврале 1936 г. отпраздновала свадьбу с Карко. В следующем году Карко был избран членом Гонкуровской академии.

Счастье длилось недолго – после начала Второй мировой войны еврейское происхождение Элианы и неприятие нацизма вынудило Карко и его жену искать убежище сперва в Ницце, а затем в Швейцарии. Здесь Карко подружился с художником Морисом Барро и поэтом Жаном Гравеном, известным юристом, позднее представлявшим Швейцарию на Нюрнбергском процессе.

После войны Карко и Элиана возвратились в Париж. С 1948 года они жили на парижском острове Сен-Луи. Карко продолжал усердно трудиться: писал и публиковал романы, мемуары, книги стихов, песенки (одну из них исполнила Эдит Пиаф). В 1952 г. он в последний раз выступил с песнями в «Проворном кролике».

Умер Франсис Карко в своем доме от болезни Паркинсона 26 мая 1958 года; Элиана пережила его на 12 лет. А наследие Карко – более сотни названий романов, рассказов, сборников стихов, песен, пьес – пережило забвение: его помнят, издают, переводят, ему посвящены биографические исследования Жан-Жака Беду (2001), Жиля Фрейсине (2005) и других авторов.

И это только справедливо: не обладая выдающимся дарованием, Карко как никто другой, по словам Альтер-Гильберта, «воплотил дух своего времени. Он *сам был* Парижем десятых, двадцатых, тридцатых годов. Его всегда будут помнить как ... современного бульвардье, воспевающего мрачные улицы и блестящие от дождя тротуары...»

«Лучше всего Карко удавалась его роль поэта городского дна. Но он не был всего лишь певцом городских низов, не был он и моралистом, ибо он не судил своих героев, а описывал их без всяких проповедей и моральных рецептов. Он был просто одаренным поэтом, высекавшим словами, точно резцом гравера, картины злоключений проклятых и не слишком красивых обитателей самых темных уголков общества».

***

К русскому читателю Карко пришел достаточно рано. В двадцатые годы были переведены его романы «Человек, которого выслеживают» (Пг., 1923), «Банда» (Л., 1926) и воспоминания «От Монмартра до Латинского квартала» (Л., 1297), а также роман о Вийоне, получивший в русском переводе название «Горестная жизнь Франсуа Вийона» (Л., 1927). Последний довоенный перевод Карко появился в книге Б. Лившица «Французские лири-

ки XIX и XX веков» (Л., 1937). Через год после выхода этой книги Лившиц был расстрелян в сталинских застенках.

С ужесточением идеологической обстановки о новых переводах Карко приходилось только мечтать; о нем не вспомнили в годы оттепели, мельком помянули несколькими переводными стихотворениями в годы «застоя», и лишь в девяностые Франсис Карко начал возвращаться к читателю. В настоящее время почти все ранее переведенные вещи Карко переизданы, переведен также роман «Всего лишь женщина» и книга о Поле Верлене.

В настоящем издании текст мемуаров Карко приводится по изданию 1927 г. с исправлением некоторых опечаток. Для сохранения колорита эпохи устаревшее написание имен в тексте не исправлялось; в подписях к иллюстрациям имена даны в принятой ныне транскрипции.

И. Соболева


au lecteur
inconnu,
avec toute ma
gratitude
Francis Carco
COMPLÉMENTAIRES

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книги издательства Salamandra P.V.V.



Джозайя Флинт. Хобо в России. 108 с., илл.

Воспоминания американского писателя-бродяги Джозайи Флинта о путешествиях в Россию, Льве Толстом и жизни в Ясной Поляне, странствиях с русскими бродягами, столичной полиции и генерале Куропаткине. Первый перевод на русский язык.

А. Я. Гуревич. Москва в начале XX века: Заметки современника. 212 с., илл.

Написанные на склоне лет воспоминания А. Я. Гуревича, участника советской космической программы, живо рисуют облик навсегда ушедшей Москвы. Память автора сохранила драгоценные детали и приметы быта Москвы начала XX века.

Борис Херсонский. Новый Естествослов. 154 с., илл.

Новая книга известного поэта, автора более десяти поэтических сборников, содержит вариации на тему Естествослова-Бестиария и представляет собою поэтические переложения средневековых текстов.

Роман Шмараков. Под буковым кровом. 208 с., илл.

В этой книге доктор филологических наук и прекрасный переводчик античной поэзии Роман Шмараков представляет свои прозаические опыты – семь изысканных и стилистически безупречных новелл, действие которых переносит читателя из древней Греции в Германию XVIII века, Италию времен Ренессанса и Россию «дворянских гнезд» века девятнадцатого.

Дилан Томас. Собрание стихотворений 1934-1953. 258 с., илл.

Первый полный перевод на русский язык канонического собрания стихотворений одного из величайших английских поэтов XX в. Дилана Томаса, отобранного самим Томасом в качестве поэтического наследия. Переводы известного поэта и переводчика Василия Бетаки снабжены подробными комментариями и статьей о жизни и творчестве Томаса.

Кики. Мемуары Кики. 243 с., илл.

Самая знаменитая натурщица XX века, она вдохновляла Сутина и Модильяни, Фуджиту и Кальдера, Брассая и Пикабиа, была возлюбленной Ман Рэя, подругой Жана Кокто и Макса Эрнста и удостоилась титула «королевы Монпарнаса». Первый русский перевод откровенных мемуаров Алисы Прен, прославившейся под именем Кики (1929), дополнен в нашем издании предисловиями Эрнеста Хемингуэя и Фуджиты, подробными комментариями и другими материалами, а также мемуарными отрывками, написанными Кики в 1950 г.

Редьярд Киплинг. Избранные стихи из всех книг. 331 с., илл.

Книга, подготовленная к изданию известным поэтом и переводчиком В. Бетаки, включает лучшие стихотворения Редьярда Киплинга из всех его книг в наиболее удачных поэтических переводах. Некоторые стихотворения представлены в двух-трех переводах. В книге есть и старые, давно полюбившиеся русскому читателю переводы, и довольно много совсем новых. Многие стихотворения Киплинга, никогда не переводившиеся на русский язык, представлены в этой книге впервые.

Я. Эйхенбаум. Гакраб (Битва). Поэма о шахматной игре. 97 с., илл.

Первое откомментированное издание курьезной поэмы о шахматной игре просветителя и поэта XIX в. Я. Эйхенбаума, деда выдающегося филолога и литературоведа Б. Эйхенбаума. Рисуя сражение между армиями древних воителей Хебера и Коры, автор описывает ход эффектной шахматной баталии с неожиданной концовкой (воспроизведение этой партии на шахматной доске доставит читателю немалое эстетическое наслаждение). Книга снабжена предисловием Б. Эйхенбаума.

В. Бетаки. В поисках деревянного слона: Облики Парижа. 284 с., илл.

Эта книга, рассказывающая об истории, архитектуре, искусстве и многоликом облике Парижа, родилась из цикла радиопередач, которые поэт Василий Бетаки вел в семидесятые-восьмидесятые годы. «В поисках деревянного слона» – признание в любви к городу, где автор прожил более 35 лет.

Р. Шмараков. Овидий в изгнании: Роман. 590 с., илл.

В этой книге прорабы и сантехники становятся героями «Метаморфоз» Овидия, летучие рыбы бьются насмерть с летучими мышами, феи заколдовывают города, старушки превращаются в царевен, а юноши – в соблазнительных девиц, милиционеры делятся изящными новеллами и подводные чудовища сходятся в эпической баталии. «Овидий в изгнании» – роман-фантасмагория, в котором автор весело и безжалостно потрошит множество литературных стилей и жанров от волшебной сказки и рыцарского романа до деревенской прозы, литературы ужасов и «славянского фэнтэзи». Роман, где гротеск соседствует с абсурдом, бытописательство с фантазией, шутовство – с дерзкими и точными описаниями окружающего нас культурного хаоса.



Книги серии «Gemma magica. Материалы и исследования по истории магии и оккультизма»:

Райские цветы, помещенные в седми цветниках. 80 с. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. I).

Первая книга серии «Gemma Magica. Материалы и исследования по истории магии и оккультизма» знакомит читателя с редкостным масонским изданием – переводом мистического шедевра XVII в. «Херувимский странник».

История доктора Джона Фаустуса. 40 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. II).

Впервые на русском языке – перевод народной книжки о знаменитом чародее и некроманте докторе Джоне Фаустусе, изданной в Англии в 1787 году.

Крата Репоа. 100 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. III).

Первое за почти 100 лет полное переиздание знаменитого трактата «Крата Репоа» – таинственной книги, которая оказала глубокое влияние на судьбы европейского и русского масонства XVIII-XIX веков и стала «фундаментальным документом» европейской эзотерики в целом.

М. И. Попов. Описание древняго славенскаго языческаго баснословия, собраннаго из разных писателей, и снабденнаго примечаниями. 80 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. IV).

«Описание древняго славенскаго языческаго баснословия» (1768) одаренного писателя, поэта и переводчика М. И. Попова стало одним из первых сочинений, ре/конструировавших мифологический пантеон, демонологию и народную магию древних славян. С XVIII в. этот важный источник оставался труднодоступен для широкого читателя.

Артур Конан Дойль. Пришествие фей. 241 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. V).

Словно великий сыщик Шерлок Холмс, сэр Артур Конан Дойль, блестящий писатель и убежденный спиритуалист, расследует в этой книге историю с фотографиями фей, сделанными в первые десятилетия XX в. двумя девочками из глухой английской деревушки. Первый полный и откомментированный перевод на русский язык.

Джон Ди. Рог Венеры. Священная Книжица черной Венеры. 68 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. VI).

Первый русский перевод любопытного гримуара XVI века, чье авторство приписывается выдающемуся английскому ученому и эзотерику, советнику королевы Елизаветы I, герою многих книг и легенд Джону Ди. В этой магической книге рассказывается, как с помощью ритуала «Рога Венеры» вызвать демонов и заставить их повиноваться и разыскивать спрятанные сокровища.

Ильин А. Я. Из дневника масона 1775-1776 гг. 54 с. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультизма: Вып. VII).

Дневник А. Я. Ильина – ценный исторический документ, рассказывающий о временах расцвета российского масонства и о повседневной жизни и деятельности масонского мастера последней четверти XVIII столетия. Подготовленный к печати в начале минувшего века известным историком В. И. Саввой, дневник А. Я. Ильина впервые за более чем 100 лет публикуется в полном объеме, с включением масонского шифра – «Литер ордена В.К.».

Гримуар заклинания духа места. 41 с., илл. (Gemma magica: Материалы и исследования по истории магии и оккультиз-ма: Вып. VIII).

Французская рукопись XVII века под названием «Гримуар заклинания духа места» в последнее время привлекает к себе растущее внимание. Этот необычный гримуар сочетает языческие и христианские мотивы с элементами народной карнавальной обрядности и традициями магико-гримуарной литературы, идею жертвоприношения с церемониальным ритуалом вызывания духов. «Гримуар заклинания духа места» впервые переводится на русский язык.

Книги серии «Библиотека авангарда»:

Владимир Гольцшмидт. Послания Владимира жизни с пути к истине. 85 с., илл. (Библиотека авангарда: Вып. I).

Первое современное издание произведений «футуриста жизни» Владимира Гольцшмидта (1891? – 1957), поэта, агитатора, культуриста и одного из зачинателей жанра артистического перформанса. Основатель московского «Кафе поэтов» и создатель памятника самому себе, авантюрист и йог, ломавший о собственную голову доски во время выступлений, Гольцшмидт остался легендарной фигурой в истории русского футуризма.

Филиппо Томмазо Маринетти. Битва у Триполи (26 октября 1911 г.), пережитая и воспетая Ф. Т. Маринетти. 97 с., карта, илл. (Библиотека авангарда: Вып. II).

Основатель итальянского футуризма, неистовый урбанист и певец авиации и машин Филиппо Томмазо Маринетти – на фронте итало-турецкой войны. Книга поэтической прозы «Битва у Триполи» в полной мере отразила как литературное дарование, так и милитаристский пафос итальянского футуриста. Переведенная на русский язык эгофутуристом и будущим лидером имажинизма В. Шершеневичем, «Битва у Триполи» не переиздавалась с 1915 г. и давно является библиографической редкостью.

Е. П. Радин. Футуризм и безумие: Параллели творчества и аналогии нового языка кубо-футуристов. 94 с., илл. (Библиотека авангарда: Вып. III). Факсимильное изд.

Наряду с острой критикой футуризма, понимаемого как мистическое течение, в книге содержится немало ценных наблюдений касательно ряда основных принципов футуристической креативности. Особое внимание автор, психиатр Е. П. Радин, уделяет творчеству В. Хлебникова, а также приводит многочисленные примеры текстов, рисунков и картин душевнобольных. В предисловии к факсимильному переизданию этой редкой ныне книги монография Радина (1914) рассматривается на фоне дискурса «вырождения» и «дегенерации» конца XIX – начала XX вв.

Обвалы сердца. Авангард в Крыму. 187 с., илл. (Библиотека авангарда: Вып. IV).

В книге полностью воспроизводятся четыре футуристических альманаха, выпущенных в Крыму в 1920-1922 гг. поэтом-космистом Вадимом Баяном (1880-1966) – «Радио», «Обвалы сердца», «Срубленный поцелуй с губ вселенной» и «Из батареи сердца». Альманахи В. Баяна, организатора и участника «Первой олимпиады футуризма» (1914) и «героя» одной из пьес В. Маяковского – любопытная и во многом уникальная страница в истории русского авангарда. Приложены воспоминания В. Баяна о «Первой олимпиаде футуристов» и отрывки из мемуарных текстов И. Северянина и Д. Бурлюка. Книга снабжена подробными комментариями и предисловием, в котором биография В. Баяна раскрывается на фоне авангардного движения 1910-1920-х годов.